Александр Драбкин

Ох уж эти евреи...

Биробиджанские рассказы

Биробиджан
2022 г.

УДК 82-31
ББК 84 (2Рос-Рус) 6-44
Д72

Д72 **Драбкин Александр Леонидович**
Ох уж эти евреи...
Биробиджанские рассказы
Хабаровск, 2022. – 180 с.

Идиш: Велвл Чернин
Художник: Владислав Цап

ISBN

© А. Л. Драбкин, текст, 2022

Содержание

Велвл Чернин. Александр Драбкин в контексте биробиджанской прозы. 4

РАССКАЗЫ
Крашенки 9
Когда-то очень давно 18
Куда ночь, туда и сон 24
Эмигрантская новелла 31
Шутник 41
Всё по-еврейски 48
Дедушка Мейер 54
Еврейская бригада 61
Как хоронили писателя 68
Мать её ё… эту жизнь 74

Александр Драбкин в контексте биробиджанской прозы

История биробиджанской литературы началась практически одновременно с историей самого Биробиджана, с изданного в 1929 году сборника путевых заметок Меера Альбертона, прибывшего на станцию Тихонькая с первым эшелоном еврейских переселенцев. В течение первого своего десятилетия вся биробиджанская литература была поэзией. Буквально вся, включая прозу. Строительство новой еврейской страны, обретение еврейским народом Родины – высокий лейтмотив биробиджанской литературы 30-х годов, создававшейся практически целиком на идише. Не случайно первая книга, изданная в Биробиджане, первый сборник стихотворений Эммануила Казакевича носил название «Биробиджанстрой». В самом конце 30-х

годов он же создал своего рода биробиджанский эпос, изданный в 1941 году уже в Москве и до сих пор не переведенный на русский язык роман в стихах (а как же иначе?!) «Шолом и Хава». В уста одного из героев этого романа ставшим классиком русской советской прозы биробиджанский еврейский поэт вложил печальные слова: «Конец этим прекрасным мечтам о тайге, говорящей на идише, о реках, которые пенятся по-еврейски».

Дальше началась сплошная проза. Включая ту, что была написана в рифму…

В 60-е годы начала формироваться русскоязычная биробиджанская литература. Одним из ее зачинателей был прозаик Роман Шойхет, свободно владевший идишем и потому ставший своего рода связующим звеном между биробиджанскими писателями старшего поколения, продолжавшими творить на идише, и писателями нового поколения, выросшими в Биробиджане, и уже не мечтавшими «о тайге, говорившей на идише, о реках, которые пенятся по-еврейски». Среди них были евреи (например, Леонид Школьник), наполовину евреи (например, Анатолий Кобенков) и неевреи (например, Виктор Соломатов), но все они были биробиджанцами.

Большой еврейский мир начал забывать о Биробиджане. Лишь газета «Биробиджанер штерн», у которой оставалось все меньше читателей, доносила до него на

идише весть о том, что Еврейская автономная область все еще существует. Что же касается большой русской литературы, то она совсем не замечала Биробиджана. Она практически даже не вспоминала о том, что знаменитый во всем Советском Союзе Эммануил Казакевич был когда-то биробиджанцем.

А Биробиджан жил своей повседневной прозаической жизнью, далекой как от искреннего пафоса обретения Родины, характерного для его первостроителей в 30-е годы, так и от лживого советского официоза, порой вспоминавшего о ЕАО в сугубо пропагандистских целях. В Биробиджане росло поколение людей, для которого он был безо всякого пафоса и безо всякой пропаганды Родиной, просто потому что они родились в нем, выросли в нем и любили его. И они продолжали и продолжают творить биробиджанскую литературу.

Биробиджан и его писатели, конечно, не пребывают в изоляции от внешнего мира. Они - часть России, часть российского Дальнего Востока и, соответственно, часть их литературы. При этом, вследствие уникальности истории и этнокультурного бэкграунда Биробиджана, они достаточно тесно связаны с Израилем, где проживают многие тысячи бывших биробиджанцев и где продолжили свое творчество немало литераторов, чей творческий путь начинался в Биробиджане.

Вот в общих чертах тот фон, на котором создавались рассказы Александра Драбкина, начавшего писать прозу во второй половине 80-х годов, в свою бытность сотрудником редакции «Биробиджанер штерн» и принимавшего в период Перестройки самое активное участие в создании независимой прессы в Биробиджане. В отличие от многих других представителей биробиджанской творческой интеллигенции он не уехал из ЕАО, хотя и он, естественно, бывал в Израиле. Биробиджан не стал для него лишь строчкой, своего рода экзотическим штрихом в биографии. Биробиджан – это его жизнь, его судьба, его любовь. Если без патетики, Биробиджан – это его всё. Я верю на все сто заголовку изданного в 2018 году сборника прозы Александра Драбкина «Песни моих улиц». Это его улицы, а его проза – это песни.

В юности я с огромным интересом читал рассказы Гешла (по-русски его обычно называли Григорием) Рабинкова – на идише и в переводе на русский. Они дали мне в свое время возможность прикоснуться к неподдельной повседневности, к прозе жизни Еврейской автономной области. Рассказы Александра Драбкина для меня в определенном смысле – продолжение рассказов Гешла Рабинкова. Они рассказывают о том, что было дальше. При этом рассказывают раскованно, без практически неизбежной для советского писателя – неважно еврейского или нееврейского – самоцензуры.

Кстати, о еврейских писателях. Александр Драбкин пишет свои рассказы по-русски, на языке, который уже давно стал основным языком повседневной жизни и культуры ЕАО. При этом с моей точки зрения он писатель еврейский. А каким еще может быть писатель, вся жизнь и все творчество которого связаны с Еврейской автономной областью? Александр Драбкин отнюдь не чужд языку идиш. Этот язык постоянно слышится в его написанных по-русски произведениях. Поэтому перевод его рассказов на идиш был для меня радостью.

По отдельности эти рассказы публиковались на идише в «Биробиджанер штерн», в альманахе «Биробиджан», в тель-авивском журнале «Идишланд». Надеюсь, что собранные вместе они позволят многим читателям ощутить уникальную прозу жизни ЕАО, как мне в свое время позволили это сделать рассказы Гешла Рабинкова.

И еще – биробиджанская литература начиналась на идише, а продолжилась по-русски. В соединении двух этих языков под обложкой одной книги самого биробиджанского, на мой взгляд, современного писателя я вижу нечто символическое. Как говорят в Израиле, «сгират маагаль» – «замыкание круга».

Велвл Чернин

Крашенки

Я был бы недалёким человеком, если бы вдруг заподозрил свою маму Риву Яковлевну, старого коммуниста, в религиозности. Но недалёким я себя не считаю, хотя собственными глазами видел, как мама красит яйца накануне православной Пасхи. При чём русская Пасха до моей мамы, еврейки, убейте меня, я не понимал. Почему, собственно, крашеные яйца, а не маца? Когда была жива моя бабушка, она приносила мацу из синагоги, и все мы кушали её с бульоном, и мама тоже. Бабушка перестала ходить в синагогу, потом умерла, и про мацу мы забыли, как забыли про то, что бывает еврейская Пасха, и когда она бывает.

Для моего рассказа я обязан-таки заметить, что моя покойная бабушка на определённом этапе своей жизни, соблюдая еврейские религиозные обря-

ды, ни разу не препятствовала маме красить яйца, и более того, сама их красила.

И вот десятого апреля утром мама приходит, чтобы поздравить моего сына с днём рождения, и вместе с подарками внуку приносит пакет с крашеными яйцами. Дети пищат от восторга, расхватывают «крашенки», как диковинные игрушки, а я, дожив до тридцати лет, додумался-таки спросить, откуда у мамы эта привычка, и получил ответ, который послужил поводом для рассказа.

Мою бабушку Эсфирь Моисеевну Герштейн в Биракане знали все. О её существовании, я полагаю, нельзя было не знать благодаря оглушительному голосу и мастерству портнихи старой школы. Знали в Биракане и дедушку Якова Хаимовича, но бабушку всё-таки знали больше.

Ещё перед войной Яков Хаимович заболел чахоткой, но он был тихим человеком, не имел привычки говорить о болячках. Болел, и всё. К нему часто приходили люди, чтобы спросить, чего следует ждать, если ночью приснился вот такой-то сон. Он говорил, и его слова и вправду все сбывались. Во всяком случае, так утверждала моя мама, а я маме верю.

Бабушка была главой семьи, и, как я уже говорил, главой очень шумной, чем заработала себе

прозвище «Эстерка-граммофон». Беру на себя смелость утверждать, что никто в Облученском районе лучше её не шил и никто так не ругался с заказчиками, как она.

– Что у Эстерки, она кричит так, будто потеряла все хлебные карточки сразу?

– Бросьте, просто у Эстерки идёт примерка.

– Очень похоже. Но шьёт Эстерка, чтоб у неё руки не болели!

Доброта и жестокость уживались в ней и не мешали одно другому. Она безбожно била своих детей, но кормила соседских хлебом, когда они с жадностью смотрели на него.

– Иди сюда, на! – кричала она ребёнку и протягивала кусок. И в то же время рёв проклятий (в этом моя бабушка была мастер) гремел по Биракану, как по репродуктору сводка Информбюро. И попробуй кто-нибудь сказать ей в этот момент: «Эстер, у вас семья, Мишка как скелет, а на Майку с Ривкой смотреть страшно». «Не сдохнут, – отвечала она, – я помогу, и мне помогут». Потом она отворачивалась и, наверное, плакала. Плакала по-своему, потому что никто в то время не видел слёз Эстерки-граммофон. Она была очень доброй, моя бабушка, Баба Эстерися.

Многое в нашей жизни не подлежит объяснению, и дети тоже. Я вовсе не о том, как они появляются на свет. Я о другом. Почему чем беднее жизнь, тем больше в ней рождается детей? Причём растут они, цепляясь за ноги друг друга. И не так, как цеплялся библейский Иаков за ноги брата своего Исава, не давая тому первым увидеть свет божий, а наоборот. Они цепляются для того, чтобы, только встав на ноги самому, побыстрее втиснуть плечико в жёсткую упряжку жизни. Так росли все дети в Биракане. А в пример я опять же могу привести свою маму, её брата и сестру.

Летом Ривку отправляли в пионерский лагерь, чтобы одним несчастьем в доме было меньше. Так решила бабушка, и пусть бы кто-нибудь в доме решил иначе, ему бы показалось, что прежде он купался в счастье. В общем, я себе представляю, что бы это могло быть, я, слава богу, бабушку помню.

Ривке в пионерском лагере было лучше, чем дома, а главное – сытнее. Она очень радовалась, и не меньше неё радовались Мишка и Майка. А почему, вы сейчас поймёте. Неписаные законы семейного родства не позволяли Ривке самой съедать порцию хлеба, не говоря уже о пирожках и булочках. Поэтому Мишка, твёрдо усвоивший распорядок дня в пионерском лагере, почти ежедневно появлял-

ся у забора, где через щель Ривка протягивала ему то, что сподручно было вынести после обеда или ужина. Он тут же съедал почти всё, оставив крохи Майке, и обещал завтра снова прийти в гости. Так было, и никуда не деться от этой маминой памяти. Именно так, я верю своей маме.

Мишка был голоден хронически. Тощий, смуглый, резкий, похожий на цыганёнка, он был беспросветным драчуном и забиякой и признавал драки только до первой крови. По осени Мишка вместе с мужиками надолго уходил шишковать в тайгу. Он слыл самым ловким кедролазом, оттого и брали его с собой мужики, несмотря на малолетний возраст. Очевидно, Мишкина буйная энергия требовала много калорий, а по-Мишкиному так просто жратвы, которой так вкусно пахло за забором пионерского лагеря.

В тот день после обеда Ривка должна была вернуться домой. Её смена закончилась, и Ривка обещала принести печёное с праздничного пионерского обеда. Это была почти торжественная минута, какая бывает перед вручением наград. По этому поводу Майка даже умылась, а Мишка не спешил затевать у ручья очередную драку.

– Да вот же она, Ривка! Сейчас будет делить поровну...

– Ривочка, – это был голос мамы. Уставший, позабытый, довоенный мамин голос, в котором исчезла злость на войну, заказчиков, на бираканский ручей, в котором она по выходным отдирала кровавую коросту с фронтовых фуфаек, и на свою ненасытную ораву. Мамин голос был горький, как трава черемша, которую дети рвали по весне на бираканских сопках. – Ривочка, дядя Ваня Толстиков, наверное, скоро умрёт, надо отнести печёное ему.

В Ривкиной руке дрожал кулёчек, уже готовый к растерзанию, а если по-Мишкиному, так к дележке по-честному.

– Дядя Ваня, наверное, умрёт и просит чего-нибудь печёного. Утром старуха Толстикова приходила. Иди отнеси. Война кончится, и ты ещё наешься, а он может не успеть.

Майка скулила вдогонку, а Мишка пинал ногой калитку до тех пор, пока не схлопотал от матери Эстерки-граммофон, к которой вернулся прежний характер...

Я не берусь сказать определённо, что больше огорчило детей, больной сосед дядя Ваня Толстиков или на глазах улетевшее печёное, которое они так и не попробовали до конца войны.

Дядя Ваня умер, оставив своей матери, бабке Толстиковой, троих ребятишек мал мала меньше.

Правда, девочки были не балованные, помогали бабке по хозяйству, да и сама она была женщиной ещё крепкой. В общем, жили, что там говорить.

А по весне, когда с продуктами совсем стало плохо, как раз на православную Пасху пришла к Герштейнам старуха Толстикова. Она да внучка-малолетка:

– Христос воскрес!

– Воистину воскрес! – ответила им Эстерка, хотя сама еврейка и не справляла православной Пасхи.

– Возьми, Эстер. – Толстикова поставила на стол кастрюлю с горячей картошкой, кринку молока, крошечную пасху и пять крашеных яиц.

– Брось, ну что ты выдумываешь. Или мы голодаем? Яков, что ты сидишь как истукан, скажи сейчас же, что у нас не голод.

А что мог сказать Яков, когда Мишка, Ривка и Майка так смотрели на стол!

– Возьмите... вы тогда Ване... Возьмите, не обижайте! – И бабка разревелась, но её сразу стало не слышно, потому что следом заревела Эстерка-граммофон.

С тех пор каждый год до конца войны и после в день Пасхи приходила к ним бабка Толстикова и приносила крашеные яйца. А иногда и не на Пасху, просто так приходила и приносила поесть. И

если вдруг в день святого православного праздника припаздывала старуха Толстикова, Мишка, здоровый уже пацан, плющил нос о залитое весенним солнцем стекло и грустно говорил:

– Ох, что-то долго Пасха не начинается…

Все они дожили до пенсии: дядя Миша, моя мама, тётя Майя. Не набожные, не верующие, а вот по весне красили яйца к православной Пасхе. И так каждый год.

Когда-то очень давно

Жили в Биробиджане люди, которые умели шутить, видеть смешное в грустном, а главное – рассказывать об этом так, что всем доставляло удовольствие слушать. Это было когда-то очень давно, теперь осталось только отыскивать их голоса в прошлом, вспоминать и рассказывать вам замечательные истории из жизни нашего чудесного города.

Было время, когда я работал в газете «Биробиджанер Штерн». Если кто не знает, скажу, что раньше в областных газетах работали не только штатные корреспонденты, которым за работу платили, но и внештатные. Им тоже немного платили, и называли «селькорами» – сельскими корреспондентами и «рабкорами» – рабочими корреспондентами. Одним из таких был Наум. Он не был ни тру-

жеником сельского хозяйства, ни рабочим, скорее побеждал на фронте умственного труда. Трудоголику Науму всегда не хватало нагрузки по основному месту работы, а может быть, и денег тоже, так он активно писал заметки в областные газеты. И делал это не только ради гонорара – свои силы Наум тратил на победу здорового образа жизни над нездоровым, а ещё – на борьбу с нарушителями общественного порядка, бессовестно и безжалостно вытаптывающими городские газоны. Если бы эти самые нарушители хоть один раз прочитали все его публикации, они бы умерли от стыда. Но, видимо, газет они не читали и продолжали жить, ходить по газонам свободно, как ходили в те годы биробиджанцы по деревянным тротуарам, и никого не боялись. А тут Наум – нате ещё одну заметку! Газонов в те годы было мало, гораздо меньше, чем публикаций по этому поводу.

Справедливости ради стоит заметить, что творения его надоели всем, но больше других они надоели молодому тогда ещё корреспонденту Славе, которого руководство периодически обязывало делать фотоснимки, иллюстрирующие заметки Наума. И всё бы ничего: Наум – писал, Слава – негодовал, но фотографировал, – если бы не случай, по-

трясший все ведущие средства массовой информации области.

Получив в очередной раз задание редактора, Слава взял фотоаппарат и исчез. И не просто исчез, а бесследно пропал без вести более чем на сутки. А это по тем временам без предоставления справки либо больничного листа – ЧП огромного масштаба. Его искали, ездили домой и даже звонили в больницу и морг. К счастью, ни в больнице, ни в морге Славы не оказалось, и это оставляло надежду на благополучный исход.

К концу второго дня с момента исчезновения в кабинете редактора зазвонил телефон, и глава областного печатного издания услышал до сердечной боли знакомый голос начальника областного управления КГБ. Начальник поинтересовался здоровьем редактора, редактор поблагодарил, сказал, что на здоровье не жалуется, но обманул: в тот момент он очень даже мог пожаловаться на здоровье. Но не начальнику же управления КГБ жаловаться?!

Обменявшись любезностями с редактором, главный борец области за государственную безопасность спросил, не работает ли в газете некий Слава, и назвал фамилию пропавшего без вести журналиста. Редактор ответил, что вот уже два дня как

не работает, но в штатах ещё состоит до выяснения ситуации. Тогда начальник поинтересовался, какое задание от редактора получил Слава накануне исчезновения. Редактор ответил, что уже не помнит, потому что очень волнуется, но возможно это было задание проиллюстрировать заметку о людях, ходящих по газонам.

– Теперь всё ясно, – произнёс начальник КГБ и положил трубку, почему-то не попрощавшись.

– Как вам это нравится? Ему всё ясно! – возмущался редактор. – Что ясно? Куда угодил этот шлимазл*, и вообще, при чём тут я и моё задание? У нас что, засекретили газоны, потому что с них взлетают космические корабли?! Он даже до свидания не сказал. Ещё бы, зачем прощаться, если скоро за тобой приедут, и снова придётся увидеться.

Моя мама сказала бы на этот счёт, что редактор как в воду глядел. Он был ровесником того времени, о котором впоследствии вспоминали не лучшим образом, и никто не мог гарантировать неповторения печальных событий.

Они таки встретились уже через час в управлении КГБ, в кабинете начальника. Там же сидел голодный, обескураженный и обезоруженный Слава

* **Шлимазл** *(идиш)* – так называют патологического неудачника. В более жёстком смысле – дурак, кретин.

– у него изъяли фотоаппарат «Киев». Где и почему изъяли, редактор узнал через несколько минут, которые, к слову сказать, вырвали у него годы жизни. За эти несколько минут начальник КГБ пояснил редактору, что работника руководимой им газеты сотрудники госбезопасности задержали, когда тот с фотоаппаратом в руках прятался в кустах сквера, расположенного прямо напротив управления КГБ. Слава вёл наблюдение и даже – при попустительстве дежурного, он ещё за это получит! – сделал один снимок. Можно понять состояние редактора после всего услышанного. Ещё бы: хорошенькое задание – сесть в засаду, да ещё где...

Через несколько грустно упомянутых минут в кабинет занесли проявленную фотоплёнку и отпечатанный снимок – тот самый единственный кадр, ради которого Слава и сидел в засаде. Для Славы этот кадр стоил десятков, сделанных для редактора ранее. Вас, конечно, интересует, что было на фотографии? На ней – ничего не подозревающий борец за экологию, народный обвинитель и активный внештатный корреспондент областных газет, представитель самой творческой интеллигенции Биробиджана Наум… шёл по газону – единственному нетоптаному газону города прямо напротив управления КГБ.

Куда ночь, туда и сон

Когда я начинаю рассказ словами «много лет тому назад», я чувствую себя стариком. Будучи уверен, что это не так, заменяю эти слова другими – и, представьте, чувствую себя моложе. Особенно, когда рассказываю о моей маме и о своём детстве.

Я пишу о событиях так, как запомнил их из рассказов мамы, и пусть не ругают меня читатели, если увидят искажение фактов: это всё-таки рассказ, а не учебник истории.

В женском общежитии, где я вырос и где мама моя работала комендантом, жила женщина по имени Физа. Я не помню её внешности, фамилии, помню только имя – Физа, и всё. Однажды она пришла к нам домой и, плача, показала какой-то документ. Как потом сказала мама, это было уведомле-

ние об исполнении решения суда расстрелять Физиного мужа Сашку за изнасилование и убийство старухи Ривки Сосиной.

Ещё мама тогда рассказала о своём отце – старике Якове, который был самым известным толкователем снов в Биракане и его окрестностях.

Дед был чахоточным, не работал и мало спал. Мало спал – потому что не мог работать или уйти на фронт и сильно переживал по этому поводу. У Якова было трое детей: моя мама, её старший брат Михаил и младшая сестра Майя. Дети всегда хотели кушать, а на еду зарабатывала только жена – известная в те годы портниха Эстерка Герштейн. Я не стану утомлять вас подробностями быта еврейской семьи, скажу лишь о том, что у чахоточного Якова было время подумать о жизни, о совпадениях, о снах и их смысле.

В те годы люди нуждались в предсказаниях больше, чем сейчас в гороскопах. Шла война, которая поделила семьи на ушедших на фронт и на ждущих с фронта. Голодные и уставшие от войны люди обсуждали скудные сны свои, как сводки информбюро, а потом шли к Якову. Он их внимательно выслушивал и давал снам своё толкование. Говорят, его предсказания сбывались.

В 1943 году Ривка Сосина, самая красивая женщина в посёлке, получила извещение о том, что её муж Иосиф пропал без вести. Все плакали, а она в смерть не верила.

Пришла Ривка как-то к старику Якову и говорит, что ей Иоська приснился. Якобы он сказал, что придёт, когда наберёт в тайге орехов, чтобы их продать и купить новый дом, а потом сел в поезд и поехал куда-то, а она, Ривка, кричала, чтобы он не ехал, что в бираканских сопках и так полно орехов... Но Иоська её не послушал. Старик Яков сказал, что сон хороший: Иоська вернётся. И ещё сказал, что ему, Якову, надо отдохнуть.

Ривка вышла, и пока шла до ручья, все слышали, как она плачет.

Уж кто-кто, а Эстерка знала, что муж её Яков всего может и не сказать, потому что людям сейчас и без дурных предсказаний плохо. Обманом Яков брезговал, а вот умолчать что-то мог. Считал, что недоговорить не значит обмануть.

– Яков, – спросила Эстерка, – Иоськи уже нет?

– Иоська придёт когда-нибудь. Но жить они не будут. Ривка умрёт плохой смертью… Скажи мне, Эстер, зачем об этом знать Ривке?

– Куда ночь, туда и сон, – неуверенно произнесла Эстер, махнув рукой в сторону.

«Иоська придёт, – твердила Ривка всем, кто её спрашивал. – Иоська придёт, так сказал старик Яков».

И люди верили.

Когда война закончилась, Яков был ещё жив. А Иоська всё не приходил и не приходил.

«Иоська придёт, – твердила Ривка, – так Яков сказал, он никогда не обманывает».

И Иоська пришёл. Где он был ещё год после войны, никто не знал. Иоська пришёл, и Ривка, ждавшая его самозабвенно, тронулась умом от счастья. Когда Иоська вошёл в дом, она посмотрела на него и спросила: «Ты принёс орехи?»…

Иоська тоже был очень красивым. И сильным тоже был. Он прошёл войну и, как потом узнали, плен, но жить с Ривкой у него не получилось. И он ушёл. Куда и к кому, никто не знал.

«Иоська придёт, – твердила Ривка, глядя на своё отражение в ручье. – Он соберёт орехи и придёт. Яков так сказал».

Моего появления на свет дед не дождался. Умер Яков в 1956-м. Его хоронили в гробу, как хоронят русских, но после похорон в его доме всё же собрался миньян[7]. Десять мужчин молились и ели хлеб, макая его в вино, а под окнами бродила ста-

руха с седыми космами. Она держала в руках истрёпанное извещение о без вести пропавшем и всё твердила: «Иоська придёт»...

…В особой камере Хабаровского следственного изолятора, в камере смертников, от скрежета дверей проснулся Физин муж Сашка. Едким дымом, как седыми космами Ривки Сосиной, плеснул пистолетный ствол ему в лицо. Склонившись над расстрелянным, доктор констатировал наступление смерти, а прокурор поставил точку в протоколе возмездия.

В детстве я иногда признавался бабушке, что мне привиделся странный сон. Я пытался ей его рассказать, а она махала рукой и ворчала: «Дуракам дурацкие сны снятся. Посмотри в окно и скажи: куда ночь, туда и сон».

Со временем я стал замечать, что плохие сны сбываются гораздо чаще хороших. Вот, например, мама говорила, что если снится рыжая собака, то это обязательно к врагу и неприятностям, которые от этого самого врага надо ждать. И что вы думаете?! В армии – а служил я в стройбате – мне однажды приснилась рыжая собака, которая меня покусала. Весь день я старался избегать конфликтов и

драк – и это, я вам скажу, было нелегко. Ночью мы вернулись с завода, где добросовестным солдатским трудом исполняли гражданский долг перед Родиной. В казарме, куда я вошёл последним, было необычно темно и шумно, брань мешалась с криками боли: шла резня между русскими и азербайджанцами. В драке никого не волновало, что я еврей, а посему уже через минуту кто-то ударил меня заточкой снизу вверх. «Вот вам и рыжая собака», – подумал я.

Зря я в то утро не вспомнил про бабушкино «куда ночь, туда и сон». Глядишь, всё и обошлось бы.

Эмигрантская новелла

Баянист играл плохо. Да и баян был старенький: он недовольно шипел, когда его заставляли прибавить звук. Но это был баян! Он звучал в Израиле, в городе Эйлате, прямо на набережной, изображая что-то отдалённо похожее на вальс «На сопках Маньчжурии».

Здесь, прямо напротив иорданского берега, играл любимый мною баян – точно такой же, какой был у меня в детстве. Мой закончил свои дни в солдатском клубе. Мама прислала его мне в Ангарск, где я служил в стройбате. На некоторое время я был вынужден оставить инструмент без присмотра – и его растоптали в драке пьяные дембеля. Я тогда плакал.

Мне захотелось помочь никудышному баянисту заработать несколько лишних шекелей. Только

я собрался попросить у него разрешения сыграть, как он почему-то замолчал, бережно, как ребёнка, поднял инструмент и ушёл в сторону Эйлатского залива. Наверное, ему хватило заработанного в тот вечер. Интересно, были ли у него проблемы с таможней при перевозке баяна? Почему меня это интересует? Расскажу – может быть, вам будет интересно.

Первые эмигранты, выезжавшие в Израиль и Германию, всё, что не сумели продать, раздаривали просто так, на память. У меня, например, до сих пор стоит электрическая мясорубка, подаренная когда-то товарищем, уехавшим в Германию. Хорошая мясорубка, он мог бы взять её с собой, но зачем, скажите, ему везти в Германию немецкую мясорубку? Тяжесть и только. С собой брали самое необходимое – чтобы выжить и встать на ноги, а ещё то, без чего на чужой земле не могла жить душа.

– Мишенька, – говорила мама моему брату, уезжавшему в Израиль в ноябре 1990 года, – ты даже не возьмёшь с собой коньки?

– Мама, – отвечал он, – коньки – это единственное, без чего я там не смогу обойтись, но я потер-

плю до заморозков, потом куплю себе новые коньки.

Во-первых, где вы видели заморозки в Израиле?! А во-вторых, он таки взял с собой коньки и катался там на них. Отсутствие мороза ещё не означает отсутствие льда.

Биробиджанские эмигранты тех лет были для своих земляков первооткрывателями невесть откуда взявшейся исторической родины. В свою очередь «доисторическая родина», то есть Биробиджан, любила их, а потому стоило отъезжающим пройти на посадку в самолёт, как друзья и близкие начинали неистово по ним скучать. Письма зачитывались до дыр, их читали друг другу по телефону. Я уже не говорю о газетах, которые проливали на эмиграцию тусклый тогда ещё свет.

В то время я работал корреспондентом газеты «Биробиджанская звезда», а ещё вместе с журналистом Леонидом Школьником мы издавали первую на Дальнем Востоке независимую газету «Взгляд». Эта газета протаптывала новые тропинки для прохождения объективной информации о жизни в Израиле и о первых проблемах наших собратьев, покинувших Родину.

5 ноября 1990 года я проводил в Израиль младшего брата Мишку, а примерно через неделю

Школьник то ли с чьих-то слов, то ли из письма читателей рассказал мне о случае на шереметьевской таможне. Он предложил написать об этом. По времени выходило, что мой Мишка летел тем же рейсом, и потому я писал собственной болью. Заметка называлась «Эмигрантская новелла».

«Я сейчас далеко. Я за восемь тысяч километров от людей, бредущих по огромному шереметьевскому полю навстречу эмиграции. Мне жалко вас, всех до единого. Даже матери, провожая блудных своих сыновей, не проклинают их, не перетряхивают котомки, контролируя, чтобы те не прихватили с собой чего лишнего…

В ночь с седьмого на восьмое ноября, когда по телевидению транслировалась праздничная демонстрация на Красной площади, в аэропорту Шереметьево шла регистрация пассажиров-эмигрантов. Бывшие граждане Страны Советов наспех прощались с близкими, оформляли багаж и заполняли декларации. Отупевшим от слёз взглядом они следили за таможенниками, внимательно изучающими содержимое их сумок и чемоданов. «Не положено!» время от времени слышали они – и послушно отдавали провожающим «лишние» предметы.

«Не положено! Без справки министерства культуры…» Бывший биробиджанец Женя Кригер был просто сбит с толку услышанным. Речь шла не о золотых украшениях, не об иконах, водке, шоколадных конфетах… «Не положено» касалось саксофона – самого дорогого для Жени предмета из всего багажа. Саксофон – это его прошлое, в котором близкие люди и мелодии, это любимое занятие, надежды на будущее. В конце концов, там, куда они собирались ехать, саксофон – это верный кусок хлеба, как говорят в России.

Рейс в шесть утра. Какое министерство выдаёт справки в три часа ночи?! Восемнадцатилетний эмигрант плакал на глазах у таможенников, родителей, провожающих… Семья прошла в зал ожидания, а за их спинами продолжало раздаваться знаменитое шереметьевское «Не положено!».

Не положено сгущённого молока, копчёной колбасы и других продуктов. Не положено приземлиться в промежуточном аэропорту и, не обращаясь в магазины и бары, где говорят на незнакомом языке, поесть самому и накормить детей. Родинамать до последней минуты беспокоится о воспитании своих чад. Чтобы они там, в чужой стране, как в бывшей своей, обошлись без излишеств».

Газета «Взгляд», № 8 от 18 ноября 1990 г.

Дома меня ждала осень, какой в Израиле не бывает. В Тель-Авиве было плюс тридцать четыре. Мой друг Сашка Беренгольц, с которым я разделил эту поездку к маме, ещё стоял у входа в аэропорт имени Бен-Гуриона и что-то объяснял родственникам – видимо, перечислял причины, по которым он не приедет жить в эту страну. Мой брат Мишка отошёл куда-то, я был один. Мама не ездила провожать меня в аэропорт: ей было трудно переносить жару. Я не заметил, как парень лет двадцати пяти оказался у меня за спиной и аккуратно взял меня за руку.

– Вы ведь Драбкин? – спросил он и посмотрел сначала на меня, а потом в сторону, где стояла группа людей.

– Драбкин, – ответил я без всякой радости, потому что и так было грустно, а тут ещё какая-то неожиданность. В Израиле, между прочим, неожиданностям не радуются, особенно в аэропорту.

– Я хочу познакомить вас с мамой.

С такими интонациями в голосе мужчина сообщает подруге о намерении познакомить её с родителями.

– Не вижу препятствий, только скажите мне, какое отношение я имею к вам и вашей маме, а то как-то неудобно.

ВЗГЛЯД

– Я вам всё объясню.

– Хорошо, – ответил я, – надеюсь, маме вы уже всё объяснили.

Мы подошли к людям, из которых я не знал никого.

– Мама, – сказал парень, удививший меня своей просьбой, – это Саша.

Единственное, что я запомнил о женщине, к которой он обратился, так это то, что она была его мамой. Она сказала: «Спасибо вам». И ещё, кажется, сказала, что «мир тесен, особенно здесь, в Израиле».

– Пожалуйста. Ещё бы знать, за что спасибо…

– Вы когда-то работали в газете «Взгляд» и писали о том, как у меня забрали саксофон, – снова обратился ко мне молодой человек.

– Писал, но это было семь лет назад, и я не помню толком материала.

– Зато мы помним. Газета, в которой вышла ваша заметка, попала в руки одному небедному человеку в Америке. Прочитав её, он разыскал меня здесь, в Израиле, и прислал тысячу долларов на новый саксофон. Я купил инструмент, и, представьте себе, всё это благодаря вам. Теперь вы понимаете, почему я хотел познакомить вас с мамой?

– Понимаю. Мне очень приятно. У вас хорошая мама…

На мгновение я увидел, как два часа назад моя мама в последний раз махнула мне рукой там, в Нацерете-Иллите, в месте, где дорога сворачивает с улицы Агнон на трассу, ведущую к аэропорту Бен-Гуриона. А ещё вспомнил Москву 1991 года, аэропорт Шереметьево и то, как довольные собой таможенники изымали у моей мамы «контрабанду» в виде литровой банки красной икры. Они составляли акт, а мама говорила им: «Дети, а что, просто съесть эту икру, без составления бумаги, вы никак не можете?! Ешьте на здоровье! Я везла внукам, но, думаю, они мне и так обрадуются, без икры. Ешьте, только пропустите меня и дайте присесть. Готеню*, как я устала в этом метро.

– А вы ещё там, в России? – спросила меня мама, с которой меня познакомили.

– Нет, я пока ещё здесь, в Израиле, но, надеюсь, что через сутки буду уже в России. Так что счастья вам!

Я увидел, как мой друг Сашка машет мне рукой, показывая, что пора идти на контроль безопасности. Извинившись перед новыми знакомыми, я по-

* **Готеню** *(идиш)* – Боженька.

шёл к стойке, где мне задали с десяток привычных уже вопросов:

– Вы брали у кого-нибудь посылки?

– Нет.

– Вы везёте с собой игрушки, похожие на оружие?

– Нет.

– Вы везёте с собой оружие, похожее на игрушки?

– Нет… Нет… Нет…

– Что хотела от тебя эта мишпуха*? – спросил Сашка, когда мы прошли контроль безопасности.

– Хорошо, что их мальчик не вывозил с собой рояль. На него американский миллионер вряд ли бы раскошелился.

– Так что они хотели всё-таки?

– Познакомиться.

* **Мишпуха** *(идиш)* – семейство.

Шутник

Дядя Миша умер с шуткой на языке и с улыбкой, которую позволял себе крайне редко. О том, как он умер, я расскажу чуть позже, а пока прошу вас, выкиньте из головы это грустное вступление, ибо о таких людях, как дядя Миша, не принято говорить в прошедшем времени, дядя Миша один из самых прекрасных шутников нашего города – города, некогда богатого такими людьми, как он.

Дядя Миша Азерлян хоть и носил армянскую фамилию, был безнадёжным евреем. Он работал электриком на швейной фабрике и редко улыбался. Но именно после него остались в нашем городе бессмертные выражения: «Спасибо, я пешком постою» – это на предложение присесть, а на предложение покушать он, как правило, отвечал: «Спасибо, я вчера обедал».

Лучшим дяди Мишиным другом был пёс Туман. Почему лучшим? Дядя Миша объяснял это двумя причинами. Туман приносил и подавал ему комнатные тапочки, и это было очень важно, потому что при приступе радикулита хозяину было трудно нагибаться. Ещё потому, что, присев у его ног, Туман никогда не просил поделиться выпивкой для счастья ему хватало и закуски.

Как многие электрики того замечательного времени, дядя Миша любил выпить. Но, заметьте, он никогда не был пьяницей, и если кому-то придёт в голову его таковым назвать, то пусть у него язык отсохнет раньше, чем он это произнесёт. Естественно, когда дядя Миша выпивал – он шутил чаще, чем тогда, когда хотел выпить или болел с похмелья.

Проживая в коммунальной квартире, как и большинство трудящихся города Биробиджана, дядя Миша любил пошутить с соседями. Я уже и не помню, какими были их имена и фамилии, да это и неважно. Назовём одних – Шира и Мейер. Люди они были не вредные, просто любили что-нибудь подслушать, кому-нибудь рассказать. И ещё они очень страдали от отсутствия чувства юмора, которого, как вы уже поняли, было в избытке у дяди Миши, царствие ему небесное. Зная эту сосед-

скую привычку, дядя Миша доставлял старым людям немало хлопот. Он, например, зная, что старики любят подслушивать через замочную скважину, поднимаясь со своего первого этажа на его второй (дал Бог им здоровья), и при этом не выносят табачного дыма, пускал в упомянутое отверстие дым известного на весь мир «Беломорканала». Естественно, в тот момент он курил «Беломорканал» не в затяжку, то есть без вреда для собственного здоровья, и делал это до тех пор, пока маленький тамбур не наполнялся скрипучим старческим кашлем. После этого только раздавался стук в дверь:

– Мищеньки, у тебя ничто не горит?

– Боже упаси, мне бы Туман сказал если что…

Вернувшись однажды домой в обычном для себя состоянии, после того как удалось слегка подхалтурить (для несведущих – это значит подработать), дядя Миша решил порубить на части мясо, доставшееся ему, естественно, по блату. Ну скажите мне, кто в те годы мог достать мясо обычным способом, то есть купить в магазине?

Как это ни странно, но приход дяди Миши домой с пакетом в руках Шира и Мейер не заметили, видимо, кроме бдения у замочной скважины у них были и другие дела. К тому же, как уже было замечено, они жили на первом этаже в старой де-

ревяшке Швейного переулка, а дядя Миша на втором. Так что пакет с мясом они обидно просмотрели. Дядя Миша поставил у печки чурку и начал рубить мясо, чтобы Сара, а именно так звали его жену, могла что-нибудь приготовить. Примерно на восьмом ударе топора в дверь постучали.

– Кто там? – спросил дядя Миша.

– Мищеньки, эти соседка Шира, что ти делишь, Мищеньки, с такой грохот?

– Рублю подполье, – не задумываясь, крайне серьёзным тоном ответил дядя Миша.

– Мищеньки, таки рубишь нам на голова?

– Я не знаю, прорублю – увидим. А без подполья плохо – ни картошку хранить, ни кусок мяса спрятать.

К счастью, прежде чем вызвать милицию, Шира и Мейер побежали на фабрику, где Сара работала швеёй. Это было недалеко, сбегать на фабрику. Они бежали и что-то кричали всю дорогу. Что именно они кричали, точно не скажу, мало того, что я не знаю идиш, так меня там ещё и не было. Они прорвались в цех и сообщили Саре, что «Мищеньки сошли с ума пьяным, и теперь им на голова рубит подполье». Назад они бежали уже втроём.

Дверь квартиры была не заперта. Пёс Туман, лучший друг дяди Миши, и его хозяин смотрели на

Сару спокойно и даже с некоторым удивлением.

– Что случилось, Сара? – спросил дядя Миша, не поднимаясь с дивана. А Сара уже закатывала дорожки, проверяя целостность полового покрытия.

– Ты что тут рубил, мищигинер*? – спросила Сара.

– Мясо, – с серьёзным видом глядя на соседей, стоящих за спиной Сары, ответил дядя Миша. Он не улыбался. Он смотрел на соседей печально. – А что случилось, Сара?

– Ты рубил подполье?

– Сара, я что, сумасшедший? Туман, скажи ей, ты же меня давно знаешь...

Даже не залаяв, Туман с презрением посмотрел в сторону соседей, после чего, взяв зубами комнатные тапочки Сары, принёс их ей. Он был так воспитан.

За много лет до смерти дяди Миши я ушёл со швейной фабрики, где работал токарем. Я переехал в другую часть нашего прекрасного города и о смерти дяди Миши узнал случайно. Впрочем, если бы не узнал, было бы лучше. Дядя Миша до сих пор был бы жив для меня, а так...

О его смерти рассказала мне мама, которой уже тоже нет.

* **Мищигинер** *(идиш)* – придурок.

Мама рассказала мне, что дядя Миша тяжело болел раком. Он уже не пил и не ел. Но однажды он попросил Сару принести ему красного вина. Быть может, в первый раз Сара принесла ему бутылку вина и даже сама налила полстакана. Дядя Миша выпил и захрипел.

– Мишка, ты умираешь? – спросила Сара.

– Ну что ты, Сарочка, я что, сумасшедший. Туман, скажи ей, ты же меня давно знаешь...

Всё по-еврейски

День был плохим, и лишь очень хорошее известие могло привести в норму лучше любого кофе и коньяка. Всевышний (в таких случаях даже неверующие благодарят именно его) пожалел меня.

Звонок начальника областной полиции встряхнул и заставил работать. Игорь Сабирович сообщил, что одно из убийств, дерзкое и почти безнадёжное, пошло на раскрытие. А это значит, необходимо срочно организовать работу следователя, оказать ему помощь… В общем, сделать то, за что мне вот уже тринадцать лет платят зарплату. И всё хорошо, да нет следователя, уехал, а уголовное дело в сейфе – вскрыть его никто не позволит.

Я же с чего начал – с того, что день был плохим. Следователь, которому поручили работу взамен

уехавшего, молодой и уже чуть-чуть нервный. Глаза – олицетворение печали всего еврейского народа, вселенская усталость и полное отсутствие хоть какого-нибудь желания разбираться в чужом деле. Зачем? К ночи вернется его коллега, и вся работа – подарок другу. И это в то время, когда своих дел невпроворот. Сашка – милый ребёнок с русской фамилией – после инструктажа закряхтел так, будто ему не работу поручили, а поставили клизму с металлической стружкой.

– Сашенька, у нас тобой работа – сплошная непредсказуемость. Это только поезда ходят по расписанию, в котором точно указано место и время прибытия. А мы с тобой лишены роскоши, именуемой постоянством. Нас будят по ночам, отрывают от любимых женщин, вытаскивают из ресторанов вне зависимости от расписания. Когда-нибудь за это ты получишь медаль, если, конечно, дотерпишь до этого времени.

– Я понял, – печально сказал Сашка. – Я всё сделаю, только почему везде, как у людей. А у нас… всё по-еврейски.

Читатель, я остановлюсь на этом месте. Я просто вынужден остановиться, чтобы перевести дыхание. Точно так же, как в тот момент, когда услы-

шал от Сашки «всё по-еврейски». Я напомню для тех, кто невнимательно читал первую часть: день был плохим, настроение соответствующим, а тут ещё этот малой… Сейчас кто угодно может позволить себе такое выражение. Кто-то поддержит, кто-то улыбнётся, а кто и вовсе не обратит внимания на сказанное. Другое дело – в моём детстве. К слову «еврей» в Биробиджане относились с глубоким, как в те годы река Бира, уважением. Если собеседник хотя бы интонацией намекал на негативное содержание слова «еврей», он рисковал здоровьем в прямом смысле слова.

«А почему?» – спросите вы. Так я вам скажу. Получишь проблемы на лице раньше, чем успеешь извиниться. А вы как думали?! Это что касается Биробиджана. Другая сторона медали была совсем не блестящей. Она имела покрытие сродни рашпилю. Это была боль от прочитанных книг об уничтожении евреев и жертвах Холокоста. Я почему-то сразу подумал о «Тяжёлом песке» Анатолия Рыбакова. В конце концов, боль скребла по сердцу, напоминая о тупых антисемитских оскорблениях и побоях, которые довелось мне испытать в стройбате.

Всё это я прожил за долю секунды, как проживает человек жизнь, почувствовав приближение смерти. А ещё я вдруг представил себе, что сделаю

ДЕЛО

с этим маленьким негодяем за его антисемитское, как мне показалось, выражение…

День не задался, настроение было… Да я же вам об этом уже рассказывал…

– И что же тебе плохого сделали евреи? – с печалью, в которой было всё пережитое и ещё то, что придется пережить, спросил я.

– Родили меня, – вдруг ответил Сашка, и кресло подо мной качнулось, как от подземного толчка в пять баллов.

– То есть как это – родили? – уточнил я, поскольку услышанное столкнуло меня с крыши пятого этажа.

– Обыкновенно, как все рожают детей, так и евреи.

В кабинете стало почему-то очень жарко.

– Кто из твоих родственников еврей? – уточнил я.

– Бабушка, мама отца.

– Стало быть, твой отец, Афанасьев Андрей Александрович – еврей?

– Наполовину, а впрочем, я не разбираюсь в этом. Разрешите идти, товарищ полковник? – ничуть не изменив печальной своей интонации, спросил Сашка. И, получив моё разрешение, направился к выходу из кабинета.

Я заметил как-то: для того чтобы испортить кому-то настроение, необязательно быть плохим человеком. Настроение чаще всего портят не люди, а обстоятельства. Можно целую работу посвятить этому, но я не буду. День был плохим, потому что была печальной ночь. Позвонил из Тель-Авива друг мой Алик Ярмарков и сообщил, что умерла его мама – Нина Григорьевна Зайчик. Она была очень близким мне человеком, я называл её момэлэ – «мамочка» в переводе с идиша. Потом были дурные сны… Работа не ладилась. Думаю, никто из моих коллег в тот день не видел руководителя отдела криминалистики – видели старого больного еврея, уставшего ещё в начале дня. Я выпил кофе с коньяком в одиночку. Коньяка было больше, чем кофе. Мысленно я возвращался в старенький домик в захолустном районе Тель-Авива и видел маму Нину, и вспоминал, что на просьбу дождаться меня ещё раз она ответила: «Не обещаю». Обычно момэлэ говорила, что постарается…

Я вдруг представил, что могло произойти, не уточни я у Сашки некоторые моменты его родословной, и мне стало плохо. Я выпил ещё коньяку и подумал о том, что, оказывается, кроме меня, в управлении работают ещё два еврея – Сашка и его отец подполковник Афанасьев. И мне стало хорошо. Очень хорошо.

Дедушка Мейер

Никогда – вы слышите меня?! – никогда дедушка Мейер не был болтуном и не говорил о том, чего не знает! А кто позволял себе в этом усомниться, очень жалел о том, что так получилось.

Дедушка Мейер был соседом моей мамы в доме по адресу: ул. Агнон, 3, город Нацерет-Иллит Государства Израиль. Почему был? Потому что мамы уже много лет как нет в живых, и я не знаю, жив ли Мейер. Я бы, конечно, мог сказать о том, что Мейер и сейчас сосед моей мамы. То есть живет в том же доме и том же подъезде, только этажом выше. Но это будет неправильно: мама в том подъезде больше не живёт. А жаль. Это совершенно замечательный подъезд! Уже потому только, что там жила мама и, может быть, по сей день живет Мейер.

Когда Мейер входил в подъезд, дверь казалась необычайно высокой: едва ли старик был ростом

выше одного метра пятидесяти сантиметров. Впрочем, какое нам вообще дело, как выглядел Мейер. Дай бог, чтобы вы в свои «за восемьдесят» выглядели так же. А я ещё вам скажу, Мейер сильно расстроился, когда его – по возрасту, естественно – не взяли работать на стройку. Мейер, знавший о стройке всё и всё умеющий, очень хотел работать, а его не взяли. Кто мне скажет после этого, что все евреи умные?!

А если честно, о том, какой Мейер строитель, я знаю с его же слов. Но главное не это, а то, какой Мейер рассказчик. Вот об этом-то я знаю точно, и вам рассказать хочу. Но как можно показать рассказчика? Да только если попробовать пересказать вам что-нибудь его же словами. Ну вот, например, из классики…

«Дорогие мои. Как порой мы ошибаемся в людях, стараясь быть с ними искренними, желая вовремя сказать что-нибудь душевное, рассказать о чём-нибудь. Я знаю?! Вместо благодарности тебя начинают называть неблагозвучными русскими словами, которые к тебе никакого отношения не имеют. Что делаешь ты в ответ? Правильно. Ты начинаешь соответствовать данной тебе характеристике, чтобы хоть не напрасно висело клеймо. Так

иногда женщины изменяют мужьям только потому, что мужья ревнуют их и упрекают в изменах.

Так вот, в начале девяностых годов я работал в организации, которая называлась УМР. Вряд ли вам интересно, но это Управление механизированных работ. У нас была большая база с техникой, но эта техника не имеет никакого отношения к тому, что я расскажу вам. Иду я однажды по территории базы и, конечно, здороваюсь со всеми, кто идет навстречу. Я им: «Здравствуйте!» Они мне: «Добрый день». «Мейер, как дела?» – «Будет хорошо!» Иду. Пять мужиков ремонтируют трактор Т-150. Большой трактор. Главный у них Семён, он чуть меньше трактора. А в бригаде мужики все ему под стать. Наверное, всем им есть чем заняться. А как же?

– Мейер, – говорит мне Семён, – а ну-ка иди к нам, сбреши что-нибудь.

– Мне некогда, – отвечаю я ему, – спешу в контору.

– Что ты с утра забыл в конторе, Мейер? – не унимается Семён. Вы ж должны понимать, очень хочется ему поговорить.

– Я хочу успеть занять очередь за зарплатой. Её решили дать на два дня раньше. Но сегодня всем может денег не хватить.

КАССА

Всё это я сказал ему как бы между прочим, но вижу: он идёт следом и не отстаёт. Надо отдать должное его маме с папой. Таки всё при нём: рост почти два метра, плечи чуть уже его трактора Т-150. Он меня обгоняет и, ничего больше не спрашивая, идёт вперёд.

Я уже и не помню, какие у меня дела были в конторе. Выхожу в коридор из кабинета бухгалтера и слышу голос начальника «умээра» и бригадира.

– Что вы тут стоите? – спрашивает начальник.

– Мы тут стоим, – отвечает бригадир, – потому что заняли очередь в кассу. Мейер сказал, что сегодня будут деньги и всем не хватит.

– Так зачем толпиться у кассы, – говорит начальник, – нужно составить список всех, кто первым занял очередь, занести список мне, а я поставлю свою резолюцию. Деньги все получат вовремя.

Дальше слышу: какая-то суета. Кто-то просит лист бумаги, кто-то достает ручку. Все спешат. Я тоже спешу, у меня работа. Зашёл решить вопросы в один, в другой кабинеты, выхожу и… на тебе.

Прямо у выхода стоят буквально тринадцать человек, и все почему-то ждут именно меня.

– Мейер, мы тебя ждём, – говорит бригадир.

– Ну так я здесь, а что случилось? – спрашиваю, потому что мне и в голову не могло прийти, что могло случиться, пока я ходил по кабинетам.

– Ты видел приказ на доске объявлений? – спрашивает бригадир.

– Не видел я никакого приказа, – отвечаю.

– Так иди почитай и будешь знать, за что мы тебе набьём морду.

Я вижу, что он не шутит и говорю:

– Может, вы мне таки сами расскажете, а то мне идти в свой цех за очками далеко.

И они мне сказали, что начальник «умээра» взял список, который они написали собственными своими руками, отнёс в отдел кадров и сказал срочно подготовить приказ о наказании всех тринадцати человек, которые в рабочее время без уважительных причин болтались возле кассы. Начальник отдела кадров всё сделала быстро. Никто не успел на часы посмотреть, как лишился премиальных.

– Ты нам сказал про зарплату? – спрашивает бригадир.

Я испугался. Что вам сказать?! Но бежать некуда, их тринадцать человек, огромных мужиков, у них плохое настроение. Они не шутят.

Мне терять нечего, и я говорю:

– Кому из вас я сказал, что будут давать в кассе деньги?

– Нам, – сказал бригадир и показал ещё на четверых шлимазлов.

– Так я обманул пятерых, а бить меня собираются тринадцать. Остальным восьми я ничего не говорил.

После этого восемь человек отошли в сторону, в правую или в левую, я не помню.

– А что касается вас, – продолжил я, – так вспомните, о чём меня попросил бригадир.

Мужики переглянулись, и кто-то говорит:

– Семён, ты же сам попросил его сбрехать что-нибудь.

– Ну, так я это и сделал, – закончил я разговор. – Вам не угодишь».

В одну секунду весь дом по адресу: улица Агнон, 3, разделился на две части. Те, кто ещё не ложился спать, потому что слушал старика Мейера, и те, кто проснулся от того, как смеялись те, кто ещё не уснул.

Они расходились по своим квартирам нехотя. Все до единого были пенсионерами, им некуда было спешить, они благодарны были прошлому за улыбку, а будущему за то, что, может быть, уже завтра дедушка Мейер или мама моя расскажут ещё что-нибудь, и таки будет что обсудить на скамейке возле подъезда.

Еврейская бригада

Бригаду называли еврейской вовсе не потому, что в ней работали евреи. Это был коллектив будущего, светлого будущего победившего всех нас социализма. Будущее виделось весёлым, как вся еврейская бригада, неунывающим, как Гриша Сигалович, добрым, как Аркаша Гуральник, мудрым, как Изя Турок, беспечным, как старик Бэрик. А каждый из них был уникален и вносил свою лепту не только в победу самого социалистического соревнования нашего города, но и в формирование хорошего настроения у всего интернационального фабричного народа. Всё начиналось утром с перекура, ещё до включения станков.

– Утром как обычно, – вещал кому-то старик Бэрик, – я разбудил Сурочку и сделал свои мужские

дела. Потом позавтракал бутербродиком и сюда, что делать?

– Бэрик, мало верится, что ты по утрам с Сурочкой ещё можешь делать свои мужские дела.

– А что тут такого? Подумаешь, взял помойное ведро, вынес на улицу.

Бэрик был неповторим. Всё в его доме решала Сурочка, во всяком случае, так считали в бригаде. Поэтому если у Бэрика, приехавшего на месяц в колхоз на сельскохозяйственные работы, с собой не было электробритвы, то «её в рюкзачок не положила Сурочка».

– Изечка, – просил он дядю Изю Ярмаркова, – ты не дашь мне побриться свою бритвочку, потому что мою бритвочку Сурочка не положила в рюкзачок.

Потом с наслаждением брился чужой электробритвой, приговаривая при этом:

– Изечка, где ты взял такую хорошую бритвочку, скажи мне марку?

– Это марка «Берцк», – гордо отвечал дядя Изя. – А чем тебе она так понравилась?

– В первый раз в жизни, – говорил Бэрик, – я бреюсь такой бритвочкой. Я даже не чувствую, как бреюсь. Когда я получу кварталочку, то попрошу Сурочку, чтобы она купила мне «Берцк».

– Попробуй с неё снять пластмассовую крышку, и ты всё почувствуешь. А когда получишь квартальчку, – ехидничал дядя Изя, – попроси Сурочку купить тебе на рыночке абисэле сейхл*.

Дядя Изя не считался главным хохмачом еврейской бригады, но говорить о нём без улыбки может только человек, вообще не способный улыбаться. Чаще всего я вспоминаю его, гордо несущего по цеху свою маленькую фигуру в замызганной телогрейке, на спине которой мелом было написано «Председатель колхоза». Так называли его потому, что в период сельско-хозяйственных работ Исаак Шлемович откомандировывался в подшефный колхоз, где с весны до осени руководил посланцами швейной фабрики. Он нежно любил жену и писал ей стихи. Одно из наиболее значимых заслуживает-таки цитирования. Нина Григорьевна, жена дяди Изи, пришла с работы и нашла записку на кухонном столе: «Дорогая моя Нина, Я ушёл в магазине. Не обижайся, дорогая, что я так люблю тебя». Кто скажет, что это не замечательные стихи, тот вообще ничего не понимает в настоящей поэзии.

В дяде Изе поразительно уживались искренняя щедрость и плюшкинская бережливость. Для него стало трагедией узнать, что жена выбросила на по-

* **Абисэле сейхл** *(идиш)* – немного мозгов.

мойку свадебный костюм. В это время старшей дочери дяди Изи было уже 32 года.

Весной 1980 года умерла моя бабушка. Она была очень старой, в связи с чем не приходилось говорить о том, что смерть её стала неожиданностью для семьи. Однако любая смерть печальна и полна малоприятных хлопот. Перед смертью старуха Эстерка, так звали мою бабушку, просила похоронить её без музыки. Насчёт гроба, оградки и памятника указаний от неё не поступало, а значит эти необходимые атрибуты погребения нужно было изготовить и, естественно, в цехе, а где ещё. Раньше всё было проще и дешевле, особенно если ты работал в таком коллективе, как экспериментально-механические мастерские Биробиджанской швейной фабрики. Именно там я работал токарем рядом с еврейской бригадой слесарей. Мастер цеха Яков Наумович Рабинович дал команду изготовить оградку и памятник двум бригадам, одна из которых была еврейской. Всё сделали быстро. А в конце дня ко мне подошёл старик Бэрик:

– Сашенька, надо бы пятёрочку, чтобы поблагодарить людей. Они сварили оградку.

Я ничего не имел против и дал деньги. А вечером того дня ко мне подошла вся еврейская бригада, все, кого я называл вначале. Они подошли,

и кто-то из них стал подталкивать вперёд старика Бэрика.

– Говори, – обращаясь к Бэрику, сурово сказал дядя Изя.

– Давай-давай, – поддержала дядю Изю бригада.

– Сашенька, – сказал Бэрик, – я у тебя занял пятёрочку, так я тебе её отдаю.

Я искренне не понимал происходящего.

– Что случилось? – спросил я у мужиков, которые смотрели на меня с сочувствием, а на Бэрика с негодованием.

– Он брал у тебя деньги, Саша? – мягко спросил толстячок Гуральник.

– Я дал ему пятёрочку, чтобы вы помянули мою бабушку, – ответил я, почувствовав, что только этим можно спасти Бэрика от всеобщего презрения.

– Сашенька, ты наш, ты вырос у нас на глазах, и мама твоя текстильщица, она тоже наша. Он не мог... Ты понял? – он уже обращался к Бэрику: – Ты не мог брать у него деньги, и всё. Мы семья, мы родные... Мы – люди...

Бэрик протягивал мне обратно пятёрочку, а у меня не поднималась рука взять её. И говорить я тоже не мог, потому что боялся заплакать.

Я не помню, были ли они на похоронах и помянули ли мы вместе бабушку.

Прошло много лет. На старом рынке в Тель-Авиве за одним из прилавков, где продавались яблоки, стоял старик. Время от времени он на изумительной смеси русского и ломаного иврита выкрикивал цену и зазывал покупателей:

– Яблоки, хамеш шекель*...

Кто-то из русскоязычных покупателей переспросил:

– Почём яблоки?

– Я же русским языком тебе говорю – пять рублей, пятёрочка.

Оглянувшись по сторонам и убедившись, что израильтянина, хозяина товара, нет рядом, дядя Изя шепнул земляку на ухо:

– Давай один шекель и уматывай.

Наблюдая эту картину, я моментально вспомнил еврейскую бригаду, надпись «Председатель колхоза» на фуфайке дяди Изи, шутки над стариком Бэриком, возвращение мне пятёрочки...

Я почти бежал к выходу. Вот ещё не хватало, чтобы в чужой стране кто-нибудь услышал мой плач...

* **Хамеш шекель** – пять шекелей.

Как хоронили писателя

Кто знает, счастье ли это – быть похороненным с почестями? Те, кто от нас уходит, уносят эту тайну с собой, зато те, кто остаётся, порою похороны обсуждают не менее эмоционально, чем свадьбы. Там есть о чём поговорить, что вспомнить. Но чтобы так…

Короче. Хоронили известного в нашей области писателя. Человек был хороший, переживший много горя и много радости, умевший быть принципиальным и преданным.

Принципиальным писатель был до такой степени, что публично отказался от присланного ему из Америки зимнего пальто. «Я не нуждаюсь в капиталистических подачках», – заявил тогда писатель, потому что был убежденным коммунистом и па-

триотом области. А зря, между прочим, отказался: буквально через неделю после этого он простыл и заболел бронхитом, который долго лечили врачи и потихоньку, чтобы никто не услышал, сетовали на писательский патриотизм. Дескать, если бы получил он это чёртово пальто и носил бы его, то не простыл бы и не заболел, а так – возись теперь.

А преданным он был коммунистической партии, которая выкинула его из своих рядов в сорок девятом, не спасла от сталинских лагерей, зато организовала достойные его похороны.

Хоронили с большими почестями. В городе не было тогда траурного зала, в синагоге не заказывали кадиш, в православном соборе не отпевали и не читали поминальных молитв. Почему? Об этом может спросить только тот, кто живет в Биробиджане недавно. Старожилы-то знают, что в те годы в Биробиджане не было ни приличной синагоги, ни раввина, ни православной церкви. Мало того что всего этого в нашем городе не было, так ещё и покойный был заядлым, убежденным, преданным коммунистом. И атеистом, конечно, несмотря на то что одному только Богу было известно, как выжил он в сталинских лагерях. Только ему, Господу, покойный мог задать вопросы, на которые его

любимая коммунистическая партия тогда отвечать ещё отказывалась.

Итак, хоронили с почестями из городского Дворца культуры – а как иначе: всё, что могли. Вместе с ним уходила из жизни еврейская литература нашего маленького города. Уходила навсегда, и было горько даже тем, кто вовсе не умел читать на идише.

Думаю, что там, на небесах, он тоже улыбнется вместе с нами, услышав этот рассказ. Может, он и тогда улыбнулся, когда произошло всё то, что будет мною рассказано, но замечать, как улыбаются покойные, нам не дано.

Я работал в еврейской газете «Биробиджанер штерн» и видел его много раз, но, убейте меня, я по сей день ничего не знаю о его чувстве юмора.

Яков Дегтяр, мой давний товарищ, казалось, рожден был с хохмой на языке, а потому шутить научился раньше, чем разговаривать и проситься на горшок. Высокий рост и чувство юмора были и остаются его главными достоинствами. Этот огромный, милый и добрый доктор-рентгенолог в те годы утверждал, что, как бы ни смотрело за нами всеми КГБ и какими бы сведениями ни располагало, он, Дегтяр, всё равно опаснее. Потому что

каждого кагэбэшника насквозь видит и при необходимости может положить в секретный архив даже фото содержимого желудка какого-нибудь носителя щита и меча.

Итак, Яков – доктор, я – журналист. Мы любим литературу и потихоньку что-то пишем в стол. Мы оба уважали покойного писателя, оба пришли его хоронить и даже согласились выносить его гроб из помещения Дворца культуры

Нас было шестеро – тех, кому поручили вынос тела. Яков нёс гроб со стороны головы покойного, я же шёл впереди него, поддерживая середину изделия биробиджанского спецавтохозяйства. Ростом я был гораздо ниже Яшки, и, как ни тянул я вверх свои руки, особой помощи от меня не было. Две шеренги людей с траурными лицами и венками образовывали широкий коридор, по которому мы двигались.

Уже совсем немного оставалось до катафалка, руки отваливались от нагрузки, и вдруг за своей спиной я услышал скорбный голос врача-рентгенолога: «Наши врачи, б…дь, как они лечат. Если бы сами выносили гробы своих пациентов, то и лечили бы совсем по-другому…» Я оглянулся на долю секунды, заметил печальное лицо очень уставшего доктора. Когда до меня дошёл смысл сказан-

ного, вес несомого груза и боль в руках показались мне мелочью по сравнению с болью в мышцах лица и живота. Это была боль от напряжения – не дай бог позволить себе рассмеяться.

Потом, уже на кладбище, я сказал Якову, что он сволочь, а тот в свою очередь поинтересовался, кто изготовил постамент для траурных речей, и так же серьезно (он не умеет по-другому) сказал, что надо бы посоветовать директору кладбища очень бережно подойти к хранению этого имущества. «Високосный год только начался», – с многозначительно скорбным выражением лица сказал Яков.

Бред траурного митинга я по большей части пропустил мимо ушей. И лишь отдельные фразы привлекли моё внимание. Я почему-то вдруг вспомнил свою покойную бабушку. Как-то, недопив стакан чая, она вышла из кухни. А когда вернулась, увидела, что её любимое место за столом занял я.

– Саша, – сказала она, – теперь я знаю, почему покойники не встают.

– Почему? – спросил я.

– Они боятся, чтобы их место никто не занял.

Мать её ё… эту жизнь

Это не рассказ и не тост, это чистая еврейская музыка, однажды услышанная мною в исполнении Валерия Абрамовича Гершковича. Музыка плыла над столом. Она была горькой и прозрачной, какой бывает русская водка или украинский самогон – чистое объедение, как сказал бы другой мой знакомый. Может быть, его рассказ будет следующим. А пока я слушаю Абрамыча, и дай бог, чтобы нам не мешали...

«Мать её ё… эту жизнь», – говорил мой папа, когда поднимал стопочку за нашим семейным столом. Тепло и уютно горела керосиновая лампа, и моя мама Гитл, а с нею мы, все дети, сидели за столом и тоже поднимали стопочки с наливочкой. И только у папы в стопочке был чистейший денату-

рат, подкрашенный такой же, как у нас, наливочкой.

«Абраша, тебе бы только выпить! На тебя же смотрят дети...» – говорила мама и при этом печально вздыхала.

«Гитл, ты должна помнить всегда, что, если бы я не пил, у нас не было бы таких красивых детей, потому что и меня не было бы. О чём ты говоришь, Гитл?! Если бы не выпивка»…

Изя, Цыля, Додик, Наум и я сидели и нежно смотрели на родителей и на стол, потому что уже очень хотелось кушать. Сами подумайте: застолье начиналось с приходом папы с работы. Кем работал мой папа, спросите вы. Так я вам скажу. У него была самая виноватая работа из всех известных на земле работ. Он был стрелочником. И был виноват во всём даже тогда, когда ни в чём виноватым не был.

Так это счастье, что стрелочником его сделали уже после того, как он послал по определенному адресу какого-то проверяющего, из комиссии. А до этого папа мой был каким-то большим биробиджанским железнодорожным начальником. Сделали и сделали. «Мать её ё… такую жизнь», – сказал тогда папа, выпил стопочку и снова напомнил маме о счастье, дарованном ему алкоголем.

Местечко называлось Лянскорунь Подольской губернии, Каменецкого уезда. Это недалеко от Львова. И жили там одни евреи. Для нашего рассказа это, может, и не имеет большого значения, но исторической справедливости ради я должен вам сообщить и этот факт. Естественно, что и руководство в местечке, от партийного до профсоюзного, тоже было еврейским. Мой папа – голова в местечке, а ещё там были секретарь парткома, председатель профсоюзного комитета и директор местного магазина. Последний, хоть и неофициально, считался самым главным. Естественно, а кому же быть главным, как не ему?! У кого есть еда, тот и главный при любой власти. Именно у него имелось самое необходимое для дальней дороги.

В какую дорогу и кто собирался, вы сейчас спросите – так папа мой знал, в какую, и попутчики его тоже знали. В обыкновенную дорогу, во Львов, а куда же ещё?! На партийную конференцию. Естественно, евреи, они же коммунисты, выбрали делегатами всех четверых. И они поехали. Запрягли, как полагается, лошадь – и поехали. А потому как путь нелёгкий и далекий к тому же, на дорожку выпили того, что было в припасах у завмага. Потом выпили всё, что было у папы, потом…

В те времена, как, впрочем, и сейчас, выпить можно было на каждом шагу, а самогон был чи-

МАНДАТ
делегата ВКП(б)

стым, как помыслы коммунистической партии. Это вам не самопальная водка, выгнанная из древесных опилок. Одна остановка, другая, третья... Отдых требует времени, как, впрочем, и дорога. Никто из них не был пьяницей. Как, по-вашему, пьяницы могли строить советскую власть и светлое будущее? Вот именно, никак.

Если кто-то из вас не видел города Львова с его церквями, костёлами, так я вам и не буду рассказывать, потому что всё равно не смогу, зато смогу рассказать о том, как въехал в этот город папа с его попутчиками. Они были в том состоянии, которое почти не позволяло понимать происходящее, но где-то далеко в подсознании каждый хранил сокровенную фразу «Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!», ну и на громкое «Ура!» они тоже были способны.

Возле театра, где должна была проходить конференция, никого не было. Ну опоздали они на несколько часов, но не настолько, чтобы вообще никого не было. Никто им не ответил, когда постучались они в огромную театральную дверь. Тогда они постучались в другую, в третью – в театре много дверей…

Лишь одна, совсем не парадная, что вела в театр со двора, открылась на убедительные их стуки. В двери стояла хохлушка, полная, как победа над империализмом, но напуганная, как выжившая пассажирка «Титаника».

«Тикайте, жиды, тикайте!» – шептала она, и глаза у неё были страшные, как сама смерть.

Депутаты конференции, представители свободного еврейского народа, вырвавшиеся наконец из вечно душившей их черты оседлости, вдруг протрезвели и, забыв сказать спасибо, стали «тикать», и лошадь их тоже «тикала», да так, как будто бы ей, а не им была уготована участь несчастных участников партийной конференции. Тех участников, кто либо не пил вообще, либо выпил мало и потому прибыл вовремя.

Как позже узнали беглецы, сразу после того как депутаты зарегистрировались, к театру подъехали грузовики с солдатами в печально известной форме. Депутатов грузили на машины и десятками увозили в неизвестном направлении. Впрочем, куда увозили, значения не имеет. Как говорил мой папа, какая разница откуда не вернуться.

«Мать её ё… такую жизнь», – сказал папа, когда вернулся в местечко, выпил стопочку, схватил дра-

гоценную свою Гитл и детей своих и уехал на Дальний Восток, и стал стрелочником.

Впрочем, я об этом вам уже говорил.

«Мотя, Цыля, Фимка! – кричит из окна тётя Дора, живущая в соседнем бараке. – Я пеку пирожки, вы кушать хотите?» «Да, хотим!» – голодными голосами отвечают ей дети. «Тогда погуляйте ещё...» Мы слышим, как тётя Дора зовёт детей кушать, и сами что-то кушаем. Я уже не помню что… «Еврейское счастье, – говорил папа, – вовремя погулять, вовремя покушать и выпить, чтобы потом появились такие вот красивые дети, как у нас с тобою, Гитл»...

Смолкли последние аккорды музыки. Я дочитал Абрамычу историю, рассказанную им же.

– А может, не надо про солдат в форме? Может, заменим чем-нибудь? – вдруг спросил Абрамыч.

– Ты до сих пор боишься?

– Нет, это я так просто, ты всё, как было, так и написал... Мать её ё… эту жизнь.

**Автор сердечно благодарит всех,
кто участвовал в работе над изданием этой книги:
Велвла Чернина,
Владислава Цапа,
Виталия Богданова,
Татьяну Истомину,
Елену Сарашевскую.**

**דער מחבר דריקט אויס אַ האַרציקן דאַנק אַלעמען,
ווער ס'האָט געאַרבעט איבערן בוך:**

וועלוול טשערנין,
וולאַדיסלאַוו צאַפּ,
וויטאַלי באָגדאַנאָוו,
טאַטיאַנאַ איסטאָמינאַ,
יעלענאַ סאַראַשעווסקאַיאַ.

Подписано в печать 5.03.2022.
Формат 70x100/32. Бумага офсетная.
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л.
Тираж 200 экз. Заказ

Отпечатано в Хабаровской краевой типографии.
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

— אוניפֿאָרם? אפֿשר װעלן מיר עס פֿאַרבײַטן מיט עפּעס? — האָט ראַפּטעם געפֿרעגט אַבראַמיטש.

— דו האָסט מורא ביז איצט?

— ניין, דאָס האָב איך סתּם אַזױ... דו האָסט פֿאַרשריבן אַלץ, װי ס׳איז געװען, אַזױ פֿאַרשריבן... אַ רוח אין זײַן טאַטן אַרײַן... אָט דאָס לעבן.

טאַטע, וואָס איז די נפֿקא־מינה פֿון וואַנען זיך ניט אומקערן.

"אַ רוח אין זײַן טאַטן אַרײַן... אַזאַ לעבן", — האָט געזאָגט דער טאַטע, ווען ער האָט זיך אומגעקערט אינעם שטעטל. ער האָט אויסגעטרונקען אַ כּוסהלע, געכאָפּט זײַן טײַערע גיטל און די קינדער זײַנע און איז אַוועקגעפֿאָרן אויפֿן ווײַטן מיזרח און געוואָרן אַ סטרעלאָטשניק.

פֿאָרט וועגן דעם האָב איך אײַך שוין געזאָגט.

"מאָטי, ציליע, פֿימקע! — שרײַט פֿון איר פֿענצטער די מומע דאָרע, וועלכע ווױנט אין אַ דערבײַיִקן באַראַק. — איך באַק פּירעזשקעס. עסן ווילט איר?" — "יאָ, מיר ווילן!" — ענטפֿערן אירע קינדער מיט הונגעריקע קולות. — "דעמאָלט שפּאַצירט נאָך אַ ביסל..." מיר הערן, ווי די מומע דאָרע רופֿט די קינדער עסן, און מיר עסן עפּעס אַליין. איך געדענק שוין ניט וואָס."דאָס ייִדישע גליק, — זאָגט דער טאַטע, — איז אַ הוליע טאָן באַצײַטנס, אָפּעסן באַצײַטנס און מאַכן אַ שהכּל, כּדי דערנאָך זאָלן זיך באַווײַזן אַזעלכע אָ שיינע קינדער, ווי בײַ אונדז מיט דיר, גיטל"...

עס זײַנען אַנטשוויגן געוואָרן די לעצטע אַקאָרדן. איך האָב דערלייענט אַבראַמיטשן די מעשׂה, וואָס ער האָט מיר דערציילט.

— און אפֿשר דאַרף מען ניט וועגן די סאָלדאַטן אין

טיקײַטעו!“[1] — האָט זי געשעפּטשעט, און די אויגן זײַנען בײַ איר געוועןן שרעקלעכע ווי דער טויט אַליין.

די דעפּוטאַטן פֿון דער קאָנפֿערענץ, די פֿאָרשטייער פֿונעם באַפֿרײַטן ייִדישן פֿאָלק, וועלכע האָבן זיך אַרויסגעריסן לבֿסוף פֿונעם תּחום־המושבֿ, וואָס האָט זיי אייביק געשטיקט, האָבן זיך פּלוצעם אויסגעניכטערט און, ניט געזאָגט איר אַ דאַנק, האָבן זיך געלאָזט ”טיקאַיען“, און זייער פֿערד האָט אויך ”טיקאַיעט“, גלײַך ווי אויף דעם פֿערד און ניט אויף זיי האָט געוואַרט דער גורל פֿון די אומגליקלעכע אָנטיילנעמער פֿון דער פּאַרטיי־קאָנפֿערענץ. יענע אָנטיילנעמער, וואָס האָבן אָדער בכלל ניט געשיכּורט, אָדער אויסגעטרונקען ווייניק און דערפֿאַר געקומען צו דער צײַט.

ווי עס האָבן זיך שפּעטער דערוווּסט די אַנטלויפֿער, גלײַך נאָך דעם, ווי דעפּוטאַטן האָבן זיך פֿאַרעגיסטרירט, זײַנען צו דעם טעאַטער צוגעפֿאָרן לאַסט־מאַשינען מיט סאָלדאַטן אין טרויעריק באַוווּסטער אוניפֿאָרם. די דעפּוטאַטן האָט מען אײַנגעלאָדן אין די מאַשינען און צענדליקערווײַז אַוועקגעפֿירט אין אַן אומבאַוווּסטער ריכטונג. צוריק געראַדט, וווּהין מע האָט זיי אַוועקגעפֿירט, איז ניט וויכטיק. ווי ס'פֿלעג זאָגן מײַן

[1] אַנטלויפֿט, ייִדן, אַנטלויפֿט! (אוקראַיִניש).

אויב עמעצער פֿון אײַך האָט ניט געזען די שטאָט לעמבערג מיט אירע צערקוועס און קאָסטיאָלן, וועל איך אײַך ניט דערציילן, ווײַל איך וועל סײַווי ניט קענען. אָנשטאָט דעם וועל איך קענען דערציילן אײַך וועגן דעם, ווי עס זײַנען אַרײַנגעפֿאָרן אין דער דאָזיקער שטאָט דער טאַטע און זײַנע מיטרײַזנדער. זיי זײַנען געווען אין יענעם צושטאַנד, וועלכער כמעט ניט דערמעגלעכט פֿאַרשטיין יענץ, וואָס קומט פֿאָר אַרום, אָבער ערגעץ ווײַט אינעם אונטערבאַוווסטזײַן האָט עדער געהיט די וויכטקסטע פֿראַזע "זאָל לעבן די קאָמוניסטישע פּאַרטיי פֿונעם סאָוועטנפֿאַרבאַנד!". אויף אַ הויכער "אוראַ!" זײַנען זיי אויך געווען מסוגל.

לעבן דעם טעאַטער, ווו עס האָט געדאַרפֿט פֿאָרקומען די קאָנפֿערענץ, איז קיינער ניט געווען. נו, האָבן זיי פֿאַרשפּעטיקט אויף עטלעכע שעהן, אָבער ניט אויף אַזוי פֿיל כּדי קיינער בכלל זאָל ניט זײַן. קיינער האָט זיי ניט געענטפֿערט, ווען זיי האָבן אָנגעקלאַפּט אין דער ריזיקער טעאַטראַלער טיר...

בלויז איינע, גאָר ניט פּאַראַדנע, יענע, וואָס האָט געפֿירט אינעם טעאַטער פֿונעם הויף, האָט זיך געעפֿנט אויף זייער איבערצײַגעוודיקע קלאַפּערײַען. אינעם אַרײַנגאַנג איז געשטאַנען אַ כאָכלושקע, אַ פּולע, ווי דער נצחון איבערן אימפּעריאַליזם, אָבער אַן איבערגעשראָקענע ווי אַ לעבן געבליבענע פּאַסאַזשירקע פֿון "טיטאַניק". "טיקײַטע, זשידי,

געהאַט דאָס נייטיקסטע פֿאַר אַ ווײַטן וועג. אין וועלכן וועג און ווער האָט זיך געגרייט, וועט איר באַלד פֿרעגן — דער טאַטע מײַנער האָט טאַקע געוווּסט, אין וועלכן, און זײַנע מיטרײַזנדער האָבן אויך געוווּסט. אין אַ געוויינלעכן וועג, קיין לעמבערג, און ווו נאָך?! אויף אַ פּאַרטיי־קאָנפֿערענץ. די ייִדן, וואָס זיי זײַנען געווען אויך קאָמוניסטן, האָבן, נאַטירלעך, אויסגעקליבן אַלס דעלעגאַטן די אַלע פֿיר. און זיי האָבן זיך געלאָזט אין וועג. אײַנגעשפּאַרט אַ פֿערד, ווי ס'איז פֿאַרפֿירט, און זיך געלאָזט. און אַזוי ווי דער וועג איז געווען ניט קיין גרינגער און אַ ווײַטער דערצו, האָבן זיי פֿאַרן אַרויספֿאָרן אויסגעטרונקען יענץ, וואָס איז געווען אין זאַפּאַס בײַם דירעקטאָר פֿון דער קראָם. און דערנאָך אויסגעטרונקען אַלץ, וואָס איז געווען בײַם טאַטן, דערנאָך... אין יענע צײַטן, ווי, דרך־אגבֿ, איצט, מאַכן אַ שהכּל האָט מען געקאָנט אויף שריט און טריט, און סאַמאָגאָן איז געווען ריין, ווי די פּלענער פֿון דער קאָמוניסטישער פּאַרטיי. דאָס איז אײַך ניט קיין געפֿעלשט בראַנפֿן, וואָס איז געמאַכט פֿון האָלץ־אָפּילקעס. איין אָפּשטעלונג, אַ צווייטע, אַ דריטע... די אָפּרו פּונקט ווי דער וועג פֿאָדערט אַ צײַט. קיינער פֿון זיי איז ניט געווען קיין שיכּורניק. ווי, מיינט איר, וואָלטן שיכּורניקעס געקאָנט בויען די ראַטן־מאַכט און די ליכטיקע צוקונפֿט? זיי וואָלטן עס ניט געקאָנט טאָן בשום־אופֿן טאַקע.

און פֿאַר דעם איז דער טאַטע מײַנער געווען אַ גרויסער בירָאָבידזשאַנער אײַזנבאַן־נאַטשאַלניק. מע האָט געמאַכט איז מע האָט געמאַכט. "אָט דאָס לעבן... אַ רוח אין זײַן טאַטן אַרײַן", — האָט געזאָגט דער טאַטע, אויסגעטרונקען דאָס כּוסהלע און ווידער דערמאָנט דער מאַמען וועגן דעם גליק, וואָס האָט אים געטראָפֿן צוליב אַלקאָהאָל.

דאָס שטעטל האָט געהייסן ליאַנסקאָרון פֿון דער פּאָדאָליער גובערניע, פֿונעם קאַמענעצער פּאָוויאַט. דאָס איז ניט ווײַט פֿון לעמבערג. און דאָרט האָבן געוווינט בלויז ייִדן. פֿאַר אונדזער מעשׂה האָט עס אפֿשר ניט קיין גרויסע באַדײַטונג, אָבער פֿאַר היסטאָרישער גערעכטיקייט דאַרף איך מיטטיילן אויך אָט דעם פֿאַקט. אויך די אָנפֿירונג אינעם שטעטל, סײַ פּאַרטיייִשע סײַ פּראָפֿאַראײנישע, איז נאַטירלעך געווען אַ ייִדישע. מײַן טאַטע איז געווען דער האָלאָוואַ אינעם שטעטל, און, חוץ דעם, זײַנען דאָרט געווען אַ סעקרעטאַר פֿון פּאַרטקאָם, דער פּאָרזיצער פֿונעם פּראָפֿאַראײן־קאָמיטעט און דער דירעקטאָר פֿון דער אָרטיקער קראָם. דעם לעצטן האָט מען געהאַלטן פֿאַרן הויפּט־נאַטשאַלניק, הגם ניט אָפֿיציעל. ס'איז דאָך נאַטרלעך. און ווער זאָל זײַן דער הויפּט־נאַטשאַלניק, אויב ניט ער?! בײַ וועמען איז שפּײַז, יענער איז דער הויפּט־נאַטשאַלניק בײַ אַ באַליביקער מאַכט. דווקא ער האָט

בײַ געזעסן בײַם טיש און אויך אויפֿגעהויבן כּוסהלעך מיט נאַליוואָטשקע. בלויז בײַם טאַטן איז אינעם כּוסהלע געווען ריינער דענאַטוראַט, אַן אונטערגעפֿאַרבטער מיט דער זעלבער נאַליוואָטשקע. "אַבראַשע, דיר איז אַבי מאַכן אַ שהכּל! עס קוקן דאָך אויף דיר די קינדער..." — פֿלעג זאָגן מײַן מאַמע און דערבײַ טרויעריק אַ קרעכץ טאָן. "גיטל, דו מוזסט תּמיד געדענקען, אַז אויב כ'וואָלט ניט געמאַכט אַ שהכּל, וואָלטן מיר ניט געהאַט אַזעלכע שיינע קינדער, ווײַל איך וואָלט ניט געווען. וואָס רעדסטו, גיטל?! ווען ניט קיין שהכּל"... איזי, ציליע, דאָדיק, נחום און איך זײַנען געזעסן און האָבן געקוקט אויף די עלטערן מיט צערטלעכקייט, ווײַל עס האָט זיך זייער געוואָלט עסן. טוט אַ טראַכט אַליין: די סעודה פֿלעג זיך אָנהייבן מיטן טאַטנס קומען פֿון דער אַרבעט. וואָס איז געווען דעם טאַטנס אַרבעט, וועט איר פֿרעגן. איז וועל איך אײַך זאָגן. בײַ אים איז געווען די סאַמע שולדיקע אַרבעט פֿון אַלע באַוווּסטע אַרבעטן אויף דער וועלט. ער איז געווען אַ סטרעלאָטשניק. און ער איז געווען שולדיק אין אַלץ אפֿילו דעמאָלט, ווען ער איז אין גאָרנשט ניט געווען שולדיק. ניט צופֿעליק זאָגט מען דאָך אויף רוסיש: "וסיעגדאַ ווינאָוואַט סטרעלאָטשניק" — "תּמיד איז שולדיק אַ סטרעלאָטשניק". און דאָס איז טאַקע אַ גליק, אַז אַ סטרעלאָטשניק האָט מען אים געמאַכט שוין נאָך דעם, ווי ער האָט געשיקט צו אַלדי רוחות עפּעס אַ פּראָוועריאַיושטשע, פֿון אַ קאָמיסיע.

אָט דאָס לעבן... אַ רוח אין זײַן טאַטן אַרײַן

דאָס איז ניט קיין מעשׂה און ניט קיין טאָסט. דאָס איז אַ ריינע ייִדישע מוזיק, וועלכע איך האָב אַמאָל דערהערט אין דער אויספֿילונג פֿון וואַלערי אַבראַמאָוויטש הערשקאָוויטש. די מוזיק האָט געשוועבט איבערן טיש. זי איז געווען אַ ביטערע און אַ דורכזיכטיקע ווי ס׳קאָן זײַן רוסישע וואָדקע אָדער אוקראַיִנישע האָרילקע — אַ ריינער טעם־גן־עדן, ווי ס׳וואָלט געזאָגט מײַנער אַ באַקאַנטער. אפֿשר וועט זײַן מעשׂה זײַן די קומענדיקע אין דער ריי. און דערווײַל הער איך זיך צו צו אַבראַמיטשן, און מע זאָל אונדז ניט שטערן...

"אָט דאָס לעבן... אַ רוח אין זײַן טאַטן אַרײַן", — פֿלעג זאָגן מײַן טאַטע בײַם אויפֿהייבן אַ כוסהלע בײַ אונדזער משפּחה־טיש. עס פלעג וואַרעם און געמיטלעך ברענען אַ קעראָסין־לאָמפּ. מײַן מאַמע גיטל און מיר, קינדער, זײַנען

אַז ער איז אַ מנוול, און ער האָט אין זײַן ריי געפֿרעגט, ווער האָט אויסגעפּאַרטיקט דעם פּאָסטאַמענט פֿאַר הספּדים, און פּונקט אַזוי ערנסט (אַנדערש קען ער ניט) געזאָגט, אַז ס׳איז כּדאי אַן עצה געבן דעם בית־עלמין־דירעקטאָר ער זאָל היטן זײַער פֿאָרזיכטיק דאָס דאָזיקע פֿאַרמעגן. ״דאָס איבער־יאָר האָט זיך נאָר אָנגעהויבן״, — האָט מיט אַ פֿילבאַדײַטנדיקער טרויעריקער מינע געזאָגט יעקבֿ.

דער אומזין פֿונעם טרויער־מיטינג האָט מיר דאָס רובֿ אין איין אויער אַרײַן אינעם אַנדערן אַרויס. בלויז באַזונדערע פֿראַזעס האָבן צוגעצויגן מײַן אויפֿמערקזאַמקייט. איך האָב איבער עפּעס פּלוצעם זיך דערמאָנט אין מײַן באָבען ז״ל. איין מאָל איז זי, ניט דערטרונקען אַ גלאָז טיי, אַרויס פֿון קיך. ווען די באָבע האָט זיך אומגעקערט, האָט זי דערזען, אַז איר באַליבט אָרט בײַם טיש האָב פֿאַרנומען איך.

— סאַשע, — האָט זי געזאָגט, — איצט ווייס איך, פֿאַרוואָס די מתים שטייען ניט אויף.

— פֿאַרוואָס? — האָב איך געפֿרעגט.

— זיי האָבן מורא, אַז קיינער זאָל ניט פֿאַרנעמען זייער אָרט.

אַרויסטראָגן דעם קערפּער. יעקבֿ האָט געטראָגן די טרונע מצד דעם פֿאַרשטאָרבענעמס קאָפּ, און איך בין געגאַנגען נאָך אים, אונטערהאַלטנדיק אין דער מיט די דאָזיקע אויסאַרבעטונג פֿון דער בירעבידזשאַנער ספּעצאויטאָווירטשאַפֿט. מיט דער וווּקס בין איך געווען נידעריקער פֿון יאַשקען, און, ווי איך האָב ניט געצויגן צום אויבן מײַנע הענט, איז קיין באַזונדערע הילף פֿון מיר ניט געווען. צוויי שערענגעס מענטשן מיט טרויעריקע פּנימער און קרענץ האָבן געשאַפֿן אַ ברייטן קאָרידאָר, איבער וועלכן מיר האָבן זיך באַוועגט.

ס'איז שוין געבליבן גאָר אַ ביסל ביזן קאַטאַפֿאַלק, די הענט האָבן זיך געליימט פֿון דער וואָג, און פּלוצעם האָב איך דערהערט הינטער מײַנע פּלייצעס אַ טרויעריק קול פֿונעם דאָקטער־רענטגענאָלאָג: "אונדזערע דאָקטוירים, קורוועס, ווי זיי היילן. אויב זיי וואָלטן אַליין אַרויסגעטראָגן טרונעס פֿון זייערע פּאַציענטן, טאָ וואָלטן זיי גאַנץ אויף אַן אַנדערן אופֿן..." איך האָב זיך אַרומגעקוקט אויף אַ חלקל פֿון סעקונדע, באַמערקט דאָס טרויעריקע פּנים פֿון זייער מידן דאָקטער. ווען ביז מיר איז דערגאַנגען דער זין פֿון די געזאָגטע ווערטער, האָבן די וואָג פֿון דער לאַסט, וואָס מיר האָבן געטראָגן, מיר אויסגעדאַכט אַ קלייניקייט אין פֿאַרגלײַך מיטן ווייטיק אין מוסקולן פֿון פּנים און בויך. דאָס איז געווען אַ ווייטיק פֿון אָנשטרענגונג — אַבי זיך ניט צעלאַכן חלילה.

דערנאָך, שוין אויפֿן בית־עלמין, האָב איך געזאָגט יעקבֿן,

איך האָב געאַרבעט אין דער צײַטונג "ביראָבידזשאַנער שטערן" און געזען אים אַ סך מאָל, יעקבֿ דעכטיאַר, מײַנער אַן אַלטער פֿרײַנד, איז, דאַכט זיך, געבוירן געוואָרן מיט אַ חכמה אויף דער צונג, און דערפֿאַר האָט ער זיך אויסגעלערנט שפּאַסן פֿריִער, איידער ריידן און זיך בעטן אויפֿן טאָפּ. דער הויכער ווּוקס און דאָס געפֿיל פֿון הומאָר זײַנען געווען זײַנע הויפּט־מעלות. דער דאָזיקער ריזיקער, חנעוודיקער און גוטהאַרציקער דאָקטער־רענטגענאָלאָג פֿלעג אין יענע יאָרן טענהן, אַז ווי דער קאַ.גע.בע זאָל ניט נאָכשפּירן נאָך אַלעמען און וואָסערע ידיעות ער זאָל ניט פֿאַרמאָגן, איז ער, דעכטיאַר, סײַוויי געפֿערלעכער. ווײַל ער זעט אַ יעדן קעגעבעשניק פֿון אינעווייניק, ווייסט וועגן דעם אינהאַלט פֿון מאָגן פֿון אַ טרעגער פֿון שילד־און־שווערד[1].

ובֿכן, יעקבֿ איז אַ דאָקטער, איך בין אַ זשורנאַליסט. מיר האָבן ליב ליטעראַטור און שרײַבן שטילערהייט אין טיש אַרײַן. מיר ביידע האָבן געהאַט דרך־ארץ פֿאַרן פֿאַרשטאָרבענעם שרײַבער, מיר ביידע זײַנען געקומען ברענגען אים צו קבֿורה און אפֿילו מסכּים געווען אַרויסטראָגן זײַן טרונע פֿון לאָקאַל פֿונעם קולטור־פּאַלאַץ.

מיר זײַנען געווען זעקס — יענע, וועמען מע האָט פֿאַרטרויט

1 די עמבלעם פֿון קאַ.גע.בע.

תּושבֿים ווייסן דאָך, אַז אין יענע יאָרן איז אין בּיראָבידזשאַן ניט געווען נישט קיין לײַטישע שיל, ניט קיין רבֿ, נישט קיין פּראַוואָסלאַווע צערקווע. ס׳איז ניט גענוג, אַז דאָס אַלץ איז אין אונדזער שטאָט ניט געווען, איז דער פֿאַרשטאָרבענער דערצו געווען אַ פֿאַרביסענער, אַן איבערצײַגטער, אַן איבערגעגעבענער קאָמוניסט. און אַן אַטעיִסט, אוודאי, טראָץ דעם, אַז בּלויז גאָט ווייסט, ווי ער איז לעבן געבליבן אין סטאַלינס לאַגערן. בּלויז אים, דעם רבונו־של־עולם, האָט דער פֿאַרשטאָרבענער געקאָנט שטעלן די פֿראַגן, אויף וועלכע זײַן געליבטע קאָמוניסטישע פּאַרטיי האָט זיך דעמאָלט נאָך אָפּגעזאָגט געבן ענטפֿערן.

ובֿכן, איז די לוויה אַרויס פֿונעם קולטור־פּאַלאַץ — און ווי אַנדערש: ס׳איז אַלץ, וואָס מע האָט געקאָנט. צוזאַמען מיט אים איז פֿונעם לעבן אַוועקגעגאַנגען די ייִדישע ליטעראַטור פֿון אונדזער קליינער שטאָט. אַוועק אויף תּמיד, און ס׳איז ביטער געווען אפֿילו יענע, וואָס האָבן כּלל ניט געקענט לייענען אויף ייִדיש.

איך מיין, אַז דאָרט, אויפֿן הימל, וועט ער אויך אַ שמייכל טאָן צוזאַמען מיט אונדז, דערהערט אָט די מעשׂה. ס׳קען זײַן, אַז ער האָט אַ שמייכל געטאָן אויך דעמאָלט, ווען ס׳איז פֿאָרגעקומען אַלץ, וועגן וואָס איך וועל דערציילן דאָ, אָבער באַמערקן, ווי עס שמייכלען פֿאַרשטאָרבענע איז אונדז ניט געגעבן.

וואָס מע האָט אים צוגעשיקט פֿון אַמעריקע. "איך נייטיק זיך ניט אין קאַפּיטאַליסטישע נדבֿות, — האָט דעמאָלט געמאָלדן דער שרײַבער, ווײַל ער איז געווען אַן איבערגעגעבענער קאָמוניסט און אַ פּאַטריאָט פֿון דער געגנט. און אומזיסט, דרך־אגבֿ, האָט ער זיך אָפּגעזאָגט: ממש אַ וואָך נאָך דעם האָט ער זיך צוגעקילט, איז קראַנק געוואָרן אויף בראָנכיטיס, וועלכן עס האָבן לאַנג געהיילט דאָקטוירים און שטילערהייט, קיינער זאָל ניט דערהערן באַדויערט לגבי דעם שרײַבערס פּאַטריאָטיזם. הייסט עס, אויב ער וואָלט דערהאַלטן דאָס דאָזיקע פֿאַרשאָלטענע מאַנטל און וואָלט עס געטראָגן, וואָלט ער זיך ניט צוגעקילט און ניט געוואָרן קראַנק, און אַזוי — פּאָרע זיך מיט אים איצט.

און איבערגעגעבן איז ער געווען דער קאָמוניסטישער פּאַרטיי, וועלכע האָט אים אַרויסגעשלײַדערט פֿון אירע רייען אין נײַן און פֿערציקסטן, ניט געראַטעוועט פֿון סטאַלינס לאַגערן, אָבער אָנשטאָט דעם אָרגאַניזירט אים אַ בכּבֿודיקע לוויה.

מע האָט אים געבראַכט צו קבֿורה מיט אַ גרויסן כּבֿוד. אין דער שטאָט איז דעמאָלט ניט געווען קיין טרויער־זאַל, מע פֿלעג ניט באַשטעלן קיין קדיש אין שיל, אין פּראַוואָסלאַווער צערקווע פֿלעגט מען ניט פּראַווען קיין שום קריסטלעכע פּאָמינקעס. פֿאַרוואָס? וועגן דעם קען פֿרעגן נאָר יענער, וואָס ווינט אין ביראָבידזשאַן ניט לאַנג. די אַלט־געזעסענע

ווי מע האָט געבראַכט צו קבֿורה אַ שרײַבער

ווער ווייסט, צי איז דאָס אַ גליק — געבראַכט צו קבֿורה זײַן מיט כּבֿוד? יענע, וואָס גייען פֿון אונדז אַוועק, טראָגן אַוועק דעם דאָזיקן סוד מיט זיך. און יענע, וואָס בלײַבן, באַהאַנדלען צומאָל לוויות ניט ווייניקער עמאָציאָנעל, איידער חתונות. דאָרט איז פֿאַראַן, וועגן וואָס צו ריידן, אין וואָס צו דערמאָנען זיך. אָבער עס זאָל זײַן אַזוי...

בקיצור. ס'איז געווען אַ לוויה פֿון אַ באַוווּסטן אין אונדזער געגנט שרײַבער. אַ מענטש איז ער געווען אַ גוטער, האָט איבערגעלעבט אַ סך צרות און אַ סך פֿריידן, געקאָנט זײַן פּרינציפּיעל און איבערגעגעבן.

פּרינציפּיעל איז דער שרײַבער געווען ביז אַזאַ מדרגה, אַז ער האָט עפֿנטלעך זיך אָפּגעזאָגט פֿון אַ ווינטערדיק מאַנטל,

— יאַ זשע רוסקים יאַזיקאָם טיעביע גאָוואָריו — פּיאַט רובליי, פּיאַטיאָראָטשקאַ.[6]

זיך אַרומגעקוקט אין אַלע זײַטן און זיך איבערצײַגט, אַז דער ישׂראלי, דער באַלעבאָס פֿון דער סחורה איז ניטאָ דערנעבן, האָט דער פֿעטער איזי אַ שעפּטשע געטאָן דעם זעמליאַק אויפֿן אויער:

— דאַווײַ אָדין שקל אי אומאַטיווײַ[7].

באַטראַכטנדיק אָט די סצענע, האָב איך תּיכּף־ומיד זיך דערמאָנט אין דער ייִדישער בריגאַדע, אין דער אויפֿשריפֿט „פֿרידסעדאַטעל קאָלכאָזאַ“ אויפֿן פֿעטער איזיס וואַטניק, אין די שפּאַסן בנוגע צום אַלטן בעריק, אינעם אומקערן מיר דאָס פֿינפֿערל...

איך בין כּמעט געלאָפֿן צום אַרויסגאַנג. עס האָט נאָר געפֿעלט, אַז אינעם פֿרעמדן לאַנד זאָל עמעצער דערהערן מײַן געוויין.

6 איך זאָג דיר דאָך אויף רוסיש — פֿינף רובל, אַ פֿינפֿערל (רוסיש).

7 גיב איין שקל און טראָג זיך אָפּ (רוסיש).

בײַ אונדז אויף די אויגן, און די מאַמע דײַנע איז אַ טעקסטילשטשיצע, זי איז אויך אַן אונדזעריקע. ער האָט ניט געמעגט... האָסט פֿאַרשטאַנען? — האָט ער שוין זיך געווענדט צו בעריקן, — דו האָסט ניט געמעגט נעמען בײַ אים געלט און גאָר. מיר זײַנען אַ משפּחה, מיר זײַנען אייגענע מענטשן... מיר זײַנען מענטשן...

בעריק דערלאַנגט מיר צוריק דאָס פֿינפֿערל, און בײַ מיר הייבט זיך ניט אויף די האַנט עס צו נעמען. און ריידן האָב איך אויך ניט געקאָנט, ווײַל כ׳האָב מורא געהאַט זיך צעוויינען.

איך געדענק ניט צי זײַנען זיי געווען אויף דער לוויה און צי האָבן מיר געטרונקען אינײנעם אַ שהכּל אין אָנדענק פֿון דער באָבען.

עס זײַנען פֿאַרבײַ אַ סך יאָרן. אויפֿן אַלטן מאַרק אין תּל־אָבֿיבֿ איז בײַ איינער פֿון די טאָמבענק, ווו מע האָט פֿאַרקויפֿט עפּל, געשטאַנען אַ זקן. פֿון צײַט צו צײַט האָט ער אויף אַ ווונדערלעכן מיש־מאַש פֿון רוסיש און העברעיִש אויסגעשריגן דעם פּרײַז און צוגערופֿן קונים:

— יאַבלאָקי, חמש שקל...[4]

עמעצער פֿון רוסיש־שפּראַכיקע קונים האָט איבערגעפֿרעגט:

— פּאָטשאָם יאַבלאָקי?[5]

[4] עפּל, פֿינף שקלים (אַ מיש־מאַש פֿון רוסש און העברעיִש).

[5] וויפֿל קאָסטן די עפּל? (רוסיש).

איך האָב גאָרנישט ניט געהאַט קעגן און געגעבן דאָס געלט. און אין אָוונט פֿון יענעם טאָג איז צו מיר צוגעגאַנגען די גאַנצע ייִדישע בריגאַדע, די אַלע, וועמען איך האָב געהאַט אָנגערופֿן אין אָנהייב. זיי זײַנען צוגעגאַנגען, און עמעצער פֿון זיי אָנגעהויבן אונטערשטופּן צו מיר דעם אַלטן בעריק.

— זאָג, — ווענדנדיק זיך צו בעריקן, האָט שטרענג געזאָגט דער פֿעטער איזי.

— זאָג שוין, — האָט אונטערגעהאַלטן דעם פֿעטער איזין די בריגאַדע.

— סאַשענקע, — האָט געזאָגט בעריק, — איך האָב בײַ דיר אַנטלײַען אַ פֿינפֿערל, איז גיב איך עס דיר אָפּ.

כ'האָב אויפֿריכטיק ניט פֿאַרשטאַנען, וואָס עס קומט פֿאָר דאָ.

— וואָס איז געשען? — האָב איך געפֿרעגט די האָרעפּאַשניקעס, וועלכע האָבן געקוקט אויף מיר מיט אַ מיטגעפֿיל און אויף בעריקן — מיט אַ גרימצאָרן.

— האָט ער גענומען בײַ דיר געלט, סאַשע? — האָט מילד אַ פֿרעג געטאָן דער באַליבטער גוראַלניק.

— האָב איך אים געגעבן אַ פֿינפֿערל איר זאָלט מאַכן אַ שהכּל אין אָנדענק פֿון מײַן באָבען, — האָב איך געענטפֿערט, דערפֿילנדיק, אַז נאָר מיט דעם קאָן מען ראַטעווען בעריקן פֿון דער אַלגעמיינער פֿאַראַכטונג.

— סאַשענקע, ביסט אַן אונדזעריקער, ביסט אויסגעוואַקסן

פֿעטער איזיס עלטערע טאָכטער געווען שוין 32 יאָר אַלט.

אום פֿרילינג 1980 איז געשטאָרבן מײַן באָבע. זי איז געווען זייער אַן אַלטע. אין דעם צוזאַמענהאַנג האָט מען ניט געקאָנט ריידן וועגן דעם, אַז איר פּטירה איז געוואָרן אַן אומדערוואַרטקייט פֿאַר דער משפּחה. אָבער אַ באַליביקער טויט איז טרויעריק און פֿול מיט ווייניק אָנגענעמע כלאָפּאָטן. פֿאַרן שטאַרבן האָט די אַלטע אסתּרקע — אַזוי האָט מען גערופֿן מײַן באָבען — געבעטן ברענגען זי צו קבֿורה אָן מוזיק. לגבי דער טרונע, דעם צוים און דער מצבֿה האָט זי קיין שום אָנווײַזונגען ניט געגעבן. דהיינו אָט די נייטיקע אַטריבוטן פֿון דער קבֿורה האָט מען געדאַרפֿט אויספֿאַרטיקן און אויספֿאַרטיקן, נאַטירלעך, אין צעך. און ווו נאָך? פֿריִער איז אַלץ געווען פּראָסטער און ביליקער, באַזונדערס אויב דו האָסט געאַרבעט אין אַזאַ קאָלעקטיוו ווי די עקספּערימענטאַל־מעכאַנישע וואַרשטאַטן פֿון דער ביראָבידזשאַנער ניי־פֿאַבריק. דווקא דאָרט האָב איך געאַרבעט ווי אַ טאָקער לעבן דער ייִדישער שלאָסערס־בריגאַדע. דער צעך־מײַסטער יעקבֿ ראַבינאָוויטש האָט געגעבן אַ קאָמאַנדע צוויי בריגאַדעס, איינע פֿון וועלכע איז געווען די ייִדישע, אויספֿאַרטיקן דעם צוים און די מצבֿה. אַלץ האָט מען געמאַכט גיך. און סוף טאָג איז צו מיר צוגעגאַנגען דער אַלטער בעריק:

— סאַשענקע, מ׳וואָלט געדאַרפֿט אַ פּינפֿערל כדי באַדאַנקען די מענטשן. זיי האָבן צוינויפֿגעשווייסט דעם צוים.

קאָלכאָזאַ"[2]. אַזוי פֿלעגט מען אים רופֿן, ווײַל אינעם פּעריאָד פֿון לאַנדווירטשאַפֿטלעכע אַרבעטן פֿלעגט מען איסאַק שליאָמאָוויטשן, דאָס הייסט, דעם פֿעטער איזי, שיקן אין קאָמאַנדירונג אינעם קאָלווירט, וואָס איז געווען אונטער דער השגחה פֿון דער ניי־פֿאַבריק. דאָרט פֿלעג ער פֿון פֿרילינג ביז האַרבסט אָנפֿירן מיט צוגעשיקטע אַרבעטער פֿון דער פֿאַבריק. ער האָט צערטלעך ליב געהאַט זײַן ווײַב און געשריבן איר לידער. איינס פֿון די באַדײַטנדיקסטע לידער זײַנע איז ווערט מע זאָל עס ציטירן. נינע גריגאָריעוונע, דעם פֿעטער איזיס ווײַב, איז געקומען פֿון דער אַרבעט און האָט געפֿונען אַ צעטל אויפֿן קיך־טיש: "דאָראָגאַיאַ מאָיאַ נינאַ, יאַ אושאָל וו מאַגאַזיניע. ניע אָביזשײַסיאַ, דאָראָגאַיאַ, טשטאָ יאַ טאַק ליובליו טיעביאַ"[3]. ווער ס'וועט זאָגן, אַז דאָס איז ניט קיין וווּנדערלעך ליד, פֿאַרשטייט בכלל גאָרנישט אין דער עכטער דיכטונג.

אינעם פֿעטער איזי האָבן קאָעקזיסטירט אַן אויפֿריכטיקע פֿרײַגעביקייט מיט אַן איבערגעטריבענער שפּאָרזאַמקייט. פֿאַר אים איז געווען אַ טראַגעדיע די ידיעה, אַז דאָס ווײַב האָט אַרויסגעוואָרפֿן זײַן חתונה־אָנצוג. אין יענער צײַט איז דעם

[2] «פֿאָרזיצער פֿון קאָלווירט» מיט אַ שרײַבפֿעלער (רוסיש).

[3] מײַן טײַערע נינע, איך בין אַוועק אין קראָם. האָב ניט קיין פֿאַריבל, טײַערע, וואָס איך האָב דיך אַזוי ליב (רוסיש מיט אַ גרײַז).

האָסטו גענומען אַזאַ גוט גאָלמעסערל, זאָג מיר די מאַרקע?

— דאָס איז די מאַרקע ״בערציק״, — האָט שטאָלץ געענטפֿערט דער פֿעטער איזי, — און מיט וואָס איז עס דיר אַזוי געפֿעלן געוואָרן?

— דאָס ערשטע מאָל אין מײַן לעבן, — האָט געענטפֿערט בעריק, — גאָל איך זיך מיט אַזאַ גאָלמעסערל. איך פֿיל ניט אפֿילו, ווי איך גאָל זיך. ווען איך וועל באַקומען די קוואַרטאַלאָטשקע[1], וועל איך בעטן שׂרהטשקען זי זאָל מיר קויפֿן ״בערציק״.

— טו אַ פּרוּוו אַראָפּנעמען פֿון דעם דאָס פּלאַסטיק־דעקל, און דו וועסט אַלץ דערפֿילן. און ווען דו וועסט באַקומען די קוואַרטאַלאָטשקע, — האָט שטעכלדיק אַרײַנגעזאָגט דער פֿעטער איזי, — בעט שׂרהטשקען קויפֿן דיר אויף אַ מערקל אַ ביסעלע שׂכל.

דעם פֿעפֿער איזי האָט מען ניט געהאַלטן פֿאַרן גרעסטן קאַטאָוועס־טרײַבער פֿון דער ייִדישער בריגאַדע, אָבער רעדן וועגן אים אָן אַ שמייכל קאָן בלויז אַזאַ מענטש, וואָס איז בכלל ניט פֿעיִק צו שמייכלען. עפּטער פֿון אַלץ דערמאָן איך זיך, ווי ער טראָגט מיט שטאָלץ איבערן צעך זײַן קליינע פֿיגור אין אַ פֿאַרשמאָלצעוועטן וואַטניק, אויף וועלכן ס׳איז פֿון הינטן אָנגעשריבן געווען מיט קרייד ״פּרעדסידאַטעל

---

[1] דאָ — אַ קוואַרטאַל־פּרעמיע.

איידער מע שליסט איַין ווערקשטעלן.

— אין דער פּרי, ווי געוויינלעך, — האָט מיטגעטיילט עמעצן דער אַלטער בעריק, האָב איך אויפֿגעוועקט שׂרהטשקען און געמאַכט מיַינע מאַנצבלשע ענינים. דערנאָך האָב איך אָפּגעפּרישטיקט מיט אַ בוטערבראָדיקל און געלאָזט זיך אַהער. וואָס זאָל מען טאָן?

— בעריק, ס'איז שווער צו גלייבן, אַז דו קענסט נאָך אין דער פּרי מאַכן מיט שׂרהטשקען דיַינע מאַנצבלשע ענינים.

— און וואָס איז דאָ אַזוינס? געמומען די פּאָמיניצע און אַרויסגעטראָגן אין דר'אויסן.

בעריק איז געווען אויף ניט איבערצוחזרן. אַלץ האָט אין זיַין היים באַשלאָסן שׂרהטשקע. יעדנפֿאַלס אַזוי האָט מען געהאַלטן אין דער בריגאַטע. דערפֿאַר, אויב בעריק, וועלכער איז געקומען אויף אַ חודש אין קאָלווירט אויף לאַנדווירטשאַפֿטלעכע אַרבעטן, האָט ניט געהאַט מיט זיך קיין עלעקטריש גאָלמעסער, הייסט עס, אַז "עס האָט עס אין זיַין רוקזעקל ניט געלייגט שׂרהטשקע".

— איזיטשקע, — האָט ער געבעטן דעם פֿעטער איזי יאַרמאַרקאָוו, — וועסט מיר ניט געבן דיַין גאָלמעסערל, וויַיל מיַין גאָלמעסערל האָט שׂרהטשקע ניט געלייגט אינעם רוקזעקל.

דערנאָך האָט ער מיט פֿאַרגעניגן זיך געגאָלט מיט אַ פֿרעמד עלעקטריש מעסער, זאָגנדיק דערביַי: איזיטשקע, ווו

די ייִדישע בריגאַדע

די בריגאַדע האָט מען גערופֿן אַ ייִדישע כּלל ניט דערפֿאַר, וואָס אין איר האָבן געאַרבעט ייִדן. דאָס איז געווען אַ קאָלעקטיוו פֿון צוקונפֿט, פֿון דער ליכטיקער צוקונפֿט פֿונעם סאָציאַליזם, וועלכער האָט געזיגט אונדז אַלעמען. די צוקונפֿט האָט זיך פֿאָרגעשטעלט אַ פֿריילעכע, ווי די גאַנצע ייִדישע בריגאַדע, אַ מונטערע, ווי גרישע סיגאַלאָוויטש, אַ גוטהאַרציקע, ווי אַרקאַשע גוראַלניק, אַ קלוגשאַפֿטלעכע, ווי איזי טוראָק, אַן אומפֿאַרדאגהטע ווי דער אַלטער בעריק. און יעדער פֿון זיי איז געווען אוניקאַל און האָט געבראַכט זײַן בײַטראָג ניט בלויז אינעם זיג פֿון דער סאַמע סאָציאַליסטישער פֿאַרמעסטונג פֿון אונדזער שטאָט, נאָר אויך אינעם פֿאָרמירן אַ גוטע שטימונג בײַ דעם גאַנצן אינטערנאַציאָנאַלן פֿאַבריק־עולם. אַלץ פֿלעג זיך אָנהייבן בײַם רייכערן אין דער פֿרי, נאָך

אין איין רגע איז דאָס גאַנצע הויז לויטן אַדרעס: עגנון־גאַס, 3, זיך צעטיילט אויף צווייען. יענע, וואָס האָבן זיך נאָך ניט געלייגט שלאָפֿן, ווײַל זיי האָבן געהערט דעם אַלטן מאיר, און יענע, וואָס האָבן זיך אויפֿגעוועקט פֿון דעם, ווי עס האָבן געלאַכט יענע, וואָס זײַנען נאָך ניט אַנטשלאָפֿן געוואָרן.

זיי זײַנען זיך צעגאַנגען איבער זייערע דירות אומוויליק. אַלע אָן אַן אויסנאַם זײַנען זיי געווען פּענסיאָנערן, זיי האָבן ניט געהאַט וווּ צו אײַלן זיך, זיי זײַנען דאַנקבאַר געווען דער פֿאַרגאַנגענהייט פֿאַר אַ שמייכל און דער צוקונפֿט פֿאַר דעם, אַז, ס׳קען זײַן, שוין מאָרגן וועט דער זיידע מאיר אָדער די מאַמע מײַנע דערציילן נאָך עפּעס, און ס׳וועט טאַקע זײַן וואָס צו באַהאַנדלען אויף דער באַנק בײַם אַרײַנגאַנג.

האָב איך זיך דערשראָקן. וואָס זאָל איך אײַך זאָגן?! אָבער אַנטלויפֿן איז ניטאָ וווּ, זיי זײַנען דרײַצן מענטשן, ריזיקע מוזשיקן, בײַ זיי איז אַ שלעכטע שטימונג. זיי שפּאַסן ניט.

האָב איך ניט וואָס צו פֿאַרלירן, איז זאָג איך:

וועמען פֿון אײַך האָב איך געזאָגט, אַז מע וועט געבן אין דער קאַסע געלט?

אונדז, — האָט געזאָגט דער בריגאַדיר און אָנגעוויזן אויף נאָך פֿיר שלימזלען.

איז האָב איך אָפּגענאַרט פֿינף מענטשן, און שלאָגן מיך קלײַבן זיך דרײַצן. די איבעריקע אַכט האָב איך גאָרנישט געזאָגט.

נאָך דעם זײַנען אַכט מענטשן אָפּגעגאַנגען אין אַ זײַט, אויף רעכטס צי אויף לינקס, געדענק איך ניט.

וואָס איז שייך צו אײַך, — האָב איך פֿאָרגעזעצט, איז דערמאָנט זיך, וועגן וואָס האָט דער בריגאַדיר מיך געבעטן.

די מוזשיקן האָבן זיך איבערגעקוקט, און עמעצער האָט געזאָגט:

סעמיאָן, דו האָסט דאָך אים אַליין געבעטן זאָגן עפּעס אַ ליגן.

נו, איז האָב איך טאַקע דאָס געטאָן, — האָב איך אונטערגעצויגן אַ סך־הכּל פֿונעם געשפּרעך. — און איר זײַט נאָך ניט צופֿרידן.

ווײַל מיר האָט אפֿילו ניט געקאָנט קומען אויפֿן זינען, וואָס האָט געקאָנט פּאַסירן בשעת איך בין אַרומגעגאַנגען איבער די קאַבינעטן.

— האָסטו געזען דעם באַפֿעל אויפֿן מעלדונגען־טאָוול? — פֿרעגט דער בריגאַדיר.

קיין שום באַפֿעל האָב איך ניט געזען, — ענטפֿער איך.

איז גיי לייען איבער און דו וועסט זיך דערוויסן, פֿאַרוואָס וועלן מיר דיר מזיקן די מאָרדע.

זע איך, אַז ער שפּאַסט ניט, און איך זאָג:

אפֿשר וועט איר מיר טאַקע אַליין דערציילן, ווײַל מיר איז ווײַט צו גיין אין מײַן צעך נאָך די ברילן.

און זיי האָבן מיר דערציילט, אַז דער נאַטשאַלניק פֿון או.־עם.־ער. האָט גענומען די רשימה, וועלכע זיי האָבן אָנגעשריבן מיט זייערע אייגענע הענט, געבראַכט זי אין קאַדרען־אָפּטיילונג און געהייסן צוגרייטן דרינגנד אַ באַפֿעל וועגן באַשטראָפֿן די אַלע דרײַצן מענטשן, וועלכע האָבן אין אַרבעטס־צײַט זיך אַרומגעדרייט אָן אַ געהעריקער סיבה בײַ דער קאַסע. די נאַטשאַלניצע פֿון דער קאַדרען־אָפּטיילונג האָט אַלץ געמאַכט גיך. קיינער האָט אפֿילו ניט באַוויזן אַ קוק צו טאָן אויפֿן זייגער, ווי ער האָט פֿאַרלאָרן זײַן פּרעמיע־געלט.

דו האָסט אונדז געזאָגט וועגן דעם געהאַלט? — פֿרעגט דער בריגאַדיר.

אין דער קאָנטאָר. גיי איך פֿונעם בוכהאַלטערס קאַבינעט אַרויס אין קאָרידאָר און איך הער קולות פֿונעם נאַטשאַלניק פֿון או.־עם.־ער. און פֿונעם בריגאַדיר סעמיאָן.

וואָס שטייט איר דאָ? — פֿרעגט דער נאַטשאַלניק.

מיר שטייען דאָ, — ענטפֿערט דער בריגאַדיר, — ווײַל מיר האָבן פֿאַרנומען די ריי אין קאַסע. מאיר האָט געזאָגט, אַז הײַנט וועט זײַן דאָס געלט און אַז אויף אַלעמען וועט עס ניט קלעקן.

איז צו וואָס דאַרף מען זיך קוועטשן לעבן דער קאַסע? — זאָגט דער נאַטשאַלניק, — מע דאַרף צונויפֿשטעלן אַ רשימה פֿון יענע, ווער עס האָבן די ערשטע פֿאַרנומען די ריי, אַרײַנטראָגן די רשימה צו מיר, און איך וועל שטעלן מײַן רעזאָלוציע. דאָס געלט וועלן אַלע באַקומען רעכטצײַטיק.

ווײַטער הער איך: אַ סאַמאַטאָכע. איינער בעט אַ בלאַט פּאַפּיר, איינער נעמט אַרויס אַ הענטלפּען. אַלע אײַלן זיך. איך אײַל זיך אויך, איך האָב אַרבעט. בין אין אַרײַן לייזן פֿראַגן אין איין קאַבינעט, אינעם צווייטן, גיי איך אַרויס און ... נאַ דיר.

גלײַך בײַם אַרויסגאַנג שטייען בוכשטעבלעך דרײַצן מענטשן, און אַלע וואַרטן צוליב עפּעס אַ סיבה דווקא אויף מיר.

מאיר, מיר וואַרטן אויף דיר, — זאָגט דער בריגאַדיר.

נו, איז בין איך דאָ, און וואָס איז געשען? — פֿרעג איך,

ווי גייט עס?" —"ס'וועט זײַן גוט!". גיי איך. פֿינף מוזשיקן רעמאָנטירן אַ טראַקטאָר טע-150. אַ גרויסער טראַקטאָר. בראָש פֿון זיי איז סעמיאָן. ער איז אַ קאַפּעלע קלענער פֿונעם טראַקטאָר. און אין דער בריגאַדע זײַנען אַלע מוזשיקן געגליכן צו אים. וואַרשײַנלעך, האָבן זיי אַלע מיט וואָס זיך צו פֿאַרנעמען. און ווי זשע קען זײַן אַנדערש?

מאיר, — זאָגט מיר סעמיאָן, — נו־קאַ קום צו אונדז, זאָג עפּעס אַ ליגן.

כ'האָב ניט קיין צײַט, - ענטפֿער איך אים, — איך אײַל זיך אין קאָנטאָר.

וואָס האָסטו פֿון דער פֿרי פֿאַרגעסן אין קאָנטאָר, מאיר?

— באַרויִקט זיך ניט סעמיאָן. איר דאַרפֿט דאָך פֿאַרשטיין, אַז אים ווילט זיך שטאַרק כאַפּן אַ שמועס.

איך וויל באַווײַזן פֿאַרנעמען די ריי נאָכן געהאַלט. מע האָט עס באַשלאָסן אויסגעבן אויף צוויי טעג פֿריִער. אָבער הײַנט קען דאָס געלט פֿאַר אַלעמען ניט קלעקן.

דאָס אַלץ האָב איך אים געזאָגט גלײַך ווי דרך־אגבֿ, אָבער איך זע: ער גייט מיר נאָך און טרעט ניט אָפּ. מע דאַרף אָפּגעבן דעם כּבֿוד זײַנע טאַטע־מאַמע. טאַקע אַלץ איז בײַ אים דאָ: דער ווווקס — כמעט צוויי מעטער, די פּלייצעס — אַ קאַפּעלע שמאָלער פֿון זײַן טראַקטאָר טע-150. ער יאָגט מיך איבער און, שוין גאָרנישט ניט פֿרעגנדיק, גייט פֿאָרויס.

איך געדענקט שוין ניט, וואָס פֿאַר אַן ענין האָב איך געהאַט

״טײַערע מײַנע, ווי נאַרן מיר זיך אָפּ צומאָל אינעם אָפּשאַצן מענטשן, זיך באַמיִענדיק זײַן מיט זיי אויפֿריכטיק, ווערלנדיק באַציִיטנס זאָגן זיי עפּעס האַרציקס, דערציילן ווענן עפּעס. איך ווייס?! אָנשטאָט באַדאַנקען הייבן זיי אָן זידלען דיך מיט ניט שיינע רוסישע ווערטער, וועלכע האָבן צו דיר קיין שום שייכות ניט. וואָס טוסטו אין ענטפֿער? ריכטיק. דו הייבסט אָן אַנטשפּרעכן דער געגעבענער דיר כאַראַקטעריסטיק כּדי די קליימע זאָל כאָטשבי הענגען ניט אומזיסט. אַזוי צומאָל זײַנען פֿרויען ניט געטרײַ זייערע מענער, ווײַל די מענער אייפֿערן זיי און וואַרפֿן זיי אויף זייער ניט־געטרײַקייט.

איז אָט, אין אָנהייב פֿון די נײַנציקער יאָרן האָב איך געאַרבעט אין אַן אָרגאַניזאַציע, וועלכע הייסט או.־עמ.־ער. ס'איז שווער צו גלייבן, אַז אײַך אינטערעסירט דאָס, אָבער דאָס איז ראָשי־תּבֿות פֿון אופּראַוולעניע מעכאַניזיראָוואַניך ראַבאָט[1]. בײַ אונדז איז געווען אַ גרויסע באַזע מיט טעכניק, אָבער אָט די טעכטיק האָט קיין שום שייכות ניט צו דעם, וואָס איך וועל אײַך דערציילן. גיי איך מיר איין מאָל איבער דער טעריטאָריע פֿון דער באַזע און איך גריס, פֿאַרשטייט זיך, אַלעמען, ווער עס גייט מיר אַקעגן. זאָג איך צו זיי: ״זדראַסטוויטיע![2]״ און זיי — צו מיר: ״דאָברי דען״[3]. ״מאיר,

[1] פֿאַרוואַלטונג פֿאַר מעכאַניזירטע אַרבעטן (רוסיש).

[2] זײַט געגריסט (רוסיש).

[3] ״אַ גוטן טאָג״ (רוסיש).

ווינט שוין ניט אין יענעם אַרײַנגאַנג. און ס'איז אַ שאָד. דאָס איז גאָר אַ מערקווירדיקער אַרײַנגאַנג! ס'איז גענוג, אַז דאָרט האָט געווינט די מאַמע, און אפֿשר ביז הײַנט־צו־טאָג ווינט מאַיר.

ווען מאיר פֿלעג אַרײַקומען אין דעם אַרײַנגאַנג, פֿלעג זיך דאַכטן, אַז די טיר איז אומגעוויינלעך הויך: דעם זקנס וווּקסק איז געווען קוים העכער פֿון איין מעטער פֿופֿציק סאַנטימעטער. אָבער וואָס אַרט אונדז בכלל, ווי עס האָט אויסגעזען מאיר? הלוואי איר זאָלט אין אײַער "איבער אַכציק" אויסזען אַזוי ווי ער. און איך וועל אײַך זאָגן נאָך, אַז מאיר האָט שטאַרק טרויעריק געוואָרן, ווען אים — נאַטירלעך, צוליב זײַן עלטער — האָט מען ניט גענומען אַרבעטן אויף אַ בויונג. מאיר, וועלכער האָט געוווּסט וועגן בויונג אַלץ און געקענט אַלץ, האָט זייער געוואָלט אַרבעטן, און אים האָט מען ניט גענומען. ווער וועט מיר זאָגן נאָך דעם, אַז אַלע ייִדן זײַנען קלוג?!

און אויב אויף בנאמנות, וועגן דעם, וואָס פֿאַר אַ בויער מאיר איז, ווייס איך פֿון זײַנע אייגענע ווערטער. אָבער דער עיקר איז ניט דאָס, נאָר יענץ, וואָס פֿאַר אַ דערציילער מאיר איז. דווקא וועגן דעם ווייס איך פּינקטלעך און איך וויל אײַך דערציילן. אָבער וויִאַזוי קאָן מען באַווײַזן אַ דערציילער? נו, אפֿשר נאָר אַ פּרווו צו טאָן עפּעס אײַך דערציילן מיט זײַנע ווערטער. אָט איז, למשל, פֿון קלאַסיק...

דער זיידע מאיר

קיינמאָל — הערט איר מיך?! — קיינמאָל איז דער זיידע מאיר ניט געווען קיין פּלאַפּלער און האָט ניט גערעדט וועגן דעם, וואָס ער ווייסט ניט! און ווער עס האָט זיך דערלויבט אויסדריקן אַ ספֿק אין דעם, האָט זייער באַדויערט, אַז אַזוינס איז מיט אים געשען.

דער זיידע מאיר איז געווען מײַן מאַמעס אַ שכן אינעם הויז לויטן אַדרעס: עגנון־גאַס, 3, די שטאָט נצרת־עילית, מדינת־ישׂראל. פֿאַרוואָס געווען? ווײַל די מאַמע איז שוין אַ סך יאָרן ניטאָ צווישן די לעבעדיקע, און איך ווייס ניט, צי מאיר לעבט נאָך. איך וואָלט אוודאי געקאָנט זאָגן, אַז מאיר איז אויך איצט מײַן מאַמעס שכן. הייסט עס, אַז ער וווינט אינעם זעלבן הויז און אינעם זעלבן אַרײַנגאַנג, נאָר אויף איין שטאָק העכער. אָבער דאָס וועט זײַן ניט ריכטיק: די מאַמע

פּאַסירן, ווען איך וואָלט ניט פֿאַרפֿינקטלעכט בײַ סאַשקען אייניקע פּרטים פֿון זײַן ייִחוס, און מיר איז געוואָרן שלעכט. איך האָב אויסגעטרונקען נאָך קאָניאַק און אַ טראַכט געטאָן, אַז עס ווײַזט זיך אויס, אַז אין אונדזער פּאָליציי־פֿאַרוואַלטונג אַרבעטן, חוץ מיר, נאָך צוויי ייִדן — סאַשקע און זײַן פֿאָטער, דער פּאָדפּאָלקאָווניק אַפֿאַנאַסיעוו, און מיר איז געוואָרן גוט.

זייער גוט.

איך האָב אַמאָל באַמערקט: כּדי קאַליע מאַכן עמעצן די שטימונג, איז ניט אָבליגאַטאָריש זײַן אַ שלעכטער מענטש. די שטימונג מאַכן קאַליע געוויינלעך ניט מענטשן, נאָר אומשטענדן. מע קאָן אַ גאַנצע ארבעט ווידמענען דעם ענין, אָבער איך וועל עס ניט טאָן. דער טאָג איז געווען אַ שלעכטער, ווײַל די נאַכט איז געווען אַ טרויעריקע. עס האָט אָנגעקלונגען פֿון תּל־אָבֿיבֿ מײַן פֿרײַנד אַליק יאַרמאַרקאָוו און מיטגעטיילט, אַז ס׳איז געשטאָרבן זײַן מאַמע, נינע זײַטשיק. זי איז פֿאַר מיר געווען זייער אַ נאָענטער מענטש, און איך האָב זי גערופֿן אויף ייִדיש "מאָמעלע". דערנאָך זײַנען געווען בייזע חלומות... די אַרבעט איז ניט געגאַנגען. כ׳מיין, אַז קיינער פֿון מײַנע קאָלעגן האָט ניט דערזען אין יענעם טאָג קיין אָנפֿירער פֿון קרימינאַליסטיק־אָפּטייל — זיי האָבן געזען אַן אַלטן קראַנקן ייִדן, וועלכער איז מיד געוואָרן שוין אין אָנהייב פֿונעם טאָג. האָב איך אויסגעטרונקען ביחידות קאַווע מיט קאָניאַק. ס׳איז געווען מער קאָניאַק איידער קאַווע. אין מײַנע מחשבֿות האָב איך זיך אומגעקערט אין דער אַלטער הײַזערקע אין אַ פֿאַרוואָרפֿענעם תּל־אָבֿיבֿער קוואַרטאַל און געזען דאָס מאָמעלע נינע און זיך דערמאָנט, אַז אויף מײַן בקשה דערוואַרטן זיך אויף מיר נאָך אַ מאָל האָט זי געענטפֿערט — איך זאָג עס ניט צו. געוויינלעך פֿלעג דאָס מאָמעלע ענטפֿערן, אַז זי וועט זיך באַמיִען...

איך האָב זיך פּלוצעם פֿאָרגעשטעלט, וואָס וואָלט געקאָנט

האָב איך אײַך דאָך וועגן דעם אַלץ שוין דערציילט...

— איז וואָס האָבן דיר די ייִדן געטאָן שלעכטס? — האָב איך געפֿרעגט מיט אַ טרויער, אין וועלכן ס׳איז געווען אַלץ, וואָס איך האָב שוין איבערגעלעבט, און נאָך יענץ, וואָס איך וועל נאָך באַדאַרפֿן איבערלעבן.

— זיי האָבן מיך געבאָרן, — האָט פּלוצעם געענטפֿערט סאַשקע, און דער פֿאָטעל האָט אונטער מיר אַ וואַקל געטאָן, ווי פֿון אַן ערדציטערניש אין פֿינף באַלן.

— וואָס הייסט — געבאָרן? האָב איך איבערגעפֿרעגט, ווײַל דאָס דערהערטע האָט מיך אַראָפּגעשטופּט פֿונעם פֿינפֿטן שטאָק.

— געוויינלעך, ווי אַלע האָבן קינדער, אַזוי אויך די ייִדן.

— אינעם קאַבינעט איז געוואָרן צוליב עפּעס הייס.

ווער פֿון דײַנע קרובֿים איז אַ ייִד? — האָב איך פֿאַרפֿינקטלעכט.

— די באָבע פֿונעם טאַטנס צד.

הייסט עס, אַז דײַן פֿאָטער, אַפֿאַנאַסיעוו אַנדריי אַלעקסאַנדראָוויטש איז אַ ייִד?

אַ האַלבער ייִד, אָבער אמת געזאָגט, בין איך אין דעם אַ קנאַפּער מבֿין. דערלויבט מיר גיין, חבֿר פֿאָלקאָווניק, - האָט, אויף אַ קאַפּעלע ניט געענדערט זײַן טרויעריקע אינטאָנאַציע, געזאָגט סאַשקע. און באַקומען מײַן דערלויבעניש, האָט ער זיך געלאָזט צום אַרויסגאַנג פֿונעם קאַבינעט.

ДЕЛО

מיט אַן אינטאָנאַציע מרמז געווען אויף אַ נעגאַטיוו אינהאַלט פֿונעם וואָרט ייִד, האָט ער ריזיקירט מיט זײַן געזונט אינעם פֿולן און אינעם פֿיגורעלן זין.

און פֿאַרוואָס, וועט איר פֿרעגן. איז וועל איך אײַך זאָגן: וועסט באַקומען פּראָבלעמען אויפֿן פּנים פֿריִער, איידער דו וועסט באַווײַזן זיך אַנטשולדיקן. און וואָס האָט איר געמיינט? דאָס איז יענץ, וואָס איז שייך צו בירעבידזשאַן.

די צווייטע זײַט פֿון דער מעדאַל איז געווען גאָר ניט גלענצנדיק. זי האָט געהאַט אַ באַדעקונג, וואָס האָט דערמאָנט אַ ראַשפּיל. דאָס איז געווען דער ווייטיק פֿון דורכגעלייענטע ביכער וועגן דעם ייִדן־חורבן — האָב איך איבער עפּעס גלײַך אַ טראַכט געטאָן וועגן אַנאַטאָלי ריבאַקאָווס ראָמאַן „דער שווערער זאַמד“. סוף־כּל־סוף האָט דער ווייטיק געשקריאַבעט איבערן האַרצן, דערמאָנענדיק וועגן טעמפּע אַנטיסעמיטישע באַליידיקונגען און קלעפּ, וועלכע מיר איז אויסגעקומען איבערלעבן אין סטראָיבאַט...

דאָס אַלץ האָב איך איבערגעלעבט במשך פֿון אַ חלק פֿון סעקונדע, גלײַך ווי אַ מענטש לעבט איבער דאָס גאַנצע לעבן בײַם דערפֿילן, אַז זײַן טויט איז נאָענט. און נאָך האָב איך זיך פּלוצעם פֿאָרגעשטעלט, וואָס וועל איך טאָן מיט דעם קליינעם אויסוווּרף פֿאַר זײַנע אַנטיסעמיטישע, ווי עס האָט זיך מיר געדאַכט, ווערטער...

דער טאָג איז געווען אַ שלעכטער, די שטימונג איז געווען...

אונדז אָפּ פֿון געליבטע פֿרויען, מע שלעפּט אונדז אַרויס פֿון רעסטאָראַנען אומאָפּהענגיק פֿון אַ גראַפֿיק. ווען־ניט־איז וועסטו באַקומען פֿאַר דעם אַ מעדאַל, אויב דו וועסט זיך אײַנהאַלטן ביז יענער צײַט אוודאי.

— איך האָב פֿאַרשטאַנען, — האָט טרויעריק געזאָגט סאַקשע. — איך וועל אַלץ טאָן. אָבער פֿאַרוואָס ס'איז אומעטום ווי בײַ לײַט און בײַ אונדז... איז אַלץ אויף אַ ייִדישן אופֿן.

לייענער, איך וועל זיך אָפּשטעלן אויף דעם דאָזיקן אָרט. איך בין פּשוט געצוווּנגען זיך אָפּשטעלן כּדי איבערכאַפּן דעם אָטעם. פּונקט אַזוי, ווי אין יענעם מאָמענט, ווען איך האָב דערהערט דעם אויסדרוק "אַלץ אויף אַ ייִדישן אופֿן". כ'וועל דערמאָנען פֿאַר די, וואָס האָבן ניט אויפֿמערקזאַם געלייענט דעם ערשטן טייל.

...דער טאָג איז געווען אַ שלעכטער און די שטימונג איז געווען אַן אַנטשפּרעכיקע, און דאָ נאַ דיר נאָך אָט דער בחורעץ... איצט קאָן יעדער איינדער דערלויבן זיך אַזאַ אויסדרוק. עמעצער וועט אונטערהאַלטן, עמעצער וועט אַ שמייכל טאָן און עמעצער וועט כּלל ניט לייגן קיין אַכטונג אויף דעם, וואָס איז געזאָגט געוואָרן. אין מײַן קינדהייט איז דאָס געווען אַנדערש. צום וואָרט "ייִד" האָט מען אין ביראָבידזשאַן זיך באַצויגן מיט אַ טיפֿן, ווי דער טײַך בירע אין יענע יאָרן, דרך־ארץ. און אויב אַ מיטשמועסער האָט כאָטשבי

אָפּוועזנד דער פֿאָרשער, וועלכער איז אַוועקגעפֿאָרן, און דער קרימינאַלער עניין ליגט אין אַ סייף — עפֿענען אים וועט קיינער ניט דערלויבן.

פֿון וואָס האָב איך דאָך אָנגעהויבן — פֿון דעם, אַז דער טאָג איז געווען אַ שלעכטער. דער אויספֿאָרשער, וועלכן מע האָט פֿאַרטרויט די אַרבעט אָנשטאָט דעם אַוועקגעפֿאָרענעם, איז אַ יונגער און שוין אַ קאַפּעלע נערוועזער. די אויגן זײַנען אַ פֿאַרקערפּערונג פֿון טרויער פֿונעם גאַנצן ייִדישן פֿאָלק, אַן אַלוועלטלעכע מידקייט און אַ פֿולע אָפּוועזנהייט פֿון אַ וועלכן־ניט־איז ווילן זיך פֿאַנאַנדערקלײַבן אין אַ פֿרעמדן עניין. צוליב וואָס? צו דער נאַכט וועט זיך אומקערן זײַן קאָלעגע, און די גאַנצע אַרבעט איז אַ מתּנה דעם קאָלעגע. און דאָס איז אין יענער צײַט, ווען אייגענע ענינים זײַנען פֿאַראַן איבערן קאָפּ. סאַשקע — אַ סימפּאַטיש קינד מיט אַ רוסישן פֿאַמיליע־נאָמען - האָט נאָכן אינסטרוקטאַזש אַ קרעכץ געטאָן אַזוי, גלײַך ווי אים האָט מען ניט קיין אַרבעט פֿאַרטרויט, נאָר געשטעלט אַ קליזמע מיט מעטאַלענער סטרוזשקע.

— סאַשענקע, בײַ אונדז מיט דיר איז די אַרבעט אַ הוילע אומפֿאָרויסגעזאָגטקייט. בלויז צוגן גייען לויט אַ גראַפֿיק, אין וועלכן ס׳איז פּינקטלעך באַצייכנט דאָס אָרט און די צײַט פֿונעם אָנקומען. און מיר האָבן ניט קיין לוקסוס, וואָס הייסט באַשטענדיקייט. מע וועקט אונדז אויף בײַנאַכט, מע רײַסט

אַלץ אויף אַ ייִדישן אופֿן

...דער טאָג איז געווען אַ שלעכטער, און בלויז זייער אַ גוטע בשׂורה האָט געקאָנט ברענגען אין אַ נאָרמע בעסער פֿון באַליביקער קאַווע צי קאָניאַק. דער אייבערשטער (אין אַזעלכע פֿאַלן באַדאַנקען דווקא אים אפֿילו ניט גלייביקע) האָט געהאַט אויף מיר רחמנות.

אַ טעלעפֿאָן־קלונג פֿונעם נאַטשאַלניק פֿון דער געגנטלעכער פּאָליציי האָט אויפֿגעטרייסטלט און געצווונגען אַרבעטן. איגאָר סאַביראָוויטש האָט מיטגעטיילט, אַז איינער פֿון די מאָרדן, אַ פֿרעכער און כמעט אַן האָפֿענונגסלאָזער, איז געגאַנגען אויף אויפֿדעקונג. דאָס הייסט, אַז מע מוז דריגנד אָרגאַניזירן די אַרבעט פֿונעם אויספֿאָרשער, דערלאַנגען אים הילף... הקיצור, מאַכן יענץ, פֿאַרוואָס מע צאָלט מיר שוין דרײַסיק יאָר דאָס געהאַלט. און אַלץ איז גוט, אָבער ס'איז

פֿון דער ניי־פֿאַבריק, ווו ער האָט געאַרבעט אַלס טאָקער. איך בין אַריבערגעפֿאָרן אין אַן אַנדערן טייל פֿון אונדזער פּרעכטיקער שטאָט און וועגן דעם אָנקל מישעס טויט האָב איך זיך דערוווּסט צופֿעליק. אגבֿ, אויב איך וואָלט זיך וועגן דעם ניט דערוווּסט, וואָלט עס געווען בעסער. דער אָנקל מישע וואָלט ביז איצט געווען לעבעדיק פֿאַר מיר, און אַזוי...

וועגן זײַן טויט האָט מיר דערציילט די מאַמע, וועלכע איז אויך שוין ניטאָ.

די מאַמע האָט מיר געזאָגט, אַז דער אָנקל מישע איז שווער קראַנק געווען אויף קאַנצער. ער האָט שוין ניט געטרונקען און ניט געגעסן. אָבער איין מאָל האָט ער געבעטן שׂרה ברענגען אים רויטן ווײַן. אפֿשר צום ערשטן מאָל האָט שׂרה אים געבראַכט אַ פֿלעשל ווײַן און אפֿילו אַליין אָנגעגאָסן אַ האַלב גלאָז. דער אָנקל מישע האָט אויסגעטרונקען און אָנגעהויבן כריפּען.

— מישקע, דו האַלסט בײַם שטאַרבן? — האָט געפֿרעגט שׂרה.

— וואָס מיצקעדרינען, שׂרהלע, בין איך דען אַ משוגענער? טומאַן, זאָג איר, דו קענסט מיך דאָך פֿון לאַנג...

די טיר פֿון דער דירה איז ניט געווען פֿאַרשלאָסן. דער הונט טומאַן, דעם אָנקל מישעס בעסטער פֿרייַנד, און זייַן באַלעבאָס האָבן געקוקט אויף שׂרה רויִק און אפֿילו מיט אַ מיט פֿאַרוווּנדערונג.

— וואָס איז געשען, שׂרה? — האָט געפֿרעגט דער אָנקל מישע, ניט אויפֿשטייענדיק פֿון דער קאַנאַפּע. און שׂרה האָט שוין אויפֿגעהויבן טעפּיכלעך, קאָנטראָלירנדיק די גאַנצקייט פֿונעם דיל.

— וואָס האָסטו געהאַקט, משוגענער? — האָט געפֿרעגט שׂרה.

— פֿלייש, — האָט, מיט אַן ערנסער מינע קוקנדיק אויף די שכנים, וועלכע זייַנען געשטאַנען הינטער שׂרהס פּלייצע, געענטפֿערט דער אָנקל מישע. ער האָט ניט געשמייכלט. ער האָט געקוקט אויף די שכנים טרויעריק.

— וואָס איז געשען, שׂרה?

— האָסט געהאַקט אַ קעלער?

— וואָס, שׂרה, בין איך דען אַ משוגענער? טומאַן, זאָג איר, דו קענסט מיך דאָך פֿון לאַנג...

אָן אַ געביל אפֿילו האָט טומאַן מיט אַ ביטול-געפֿיל אַ קוק געטאָן אין דער ריכטונג פֿון די שכנים. דערנאָך האָט ער גענומען אין די ציין שׂרהס שטעקשיך און איר אָפּגעטראָגן. אַזוי איז ער געווען דערצויגן.

אַ סך יאָר פֿאַר זייַן טויט איז דער אָנקל מישע אַוועק

כּדי שׂרה — און דווקא אַזוי האָט מען גערופֿן זײַן ווײַב, זאָל קענען עפּעס צוגרייטן. אומגעפֿער אויפֿן אַכטן קלאַפּ פֿון דער האַק האָט מען אָנגעקלאַפּט אין דער טיר.

— ווער איז דאָרט? — האָט געפֿרעגט דער אָנקל מישע.

— מישענקע, דאָס איז די שכנה שירה. וואָס טוסטו, מישענקע מיט אַזאַ רעש?

— איך האַק אַן קעלער, — האָט, זיך ניט פֿאַרטראַכט, מיט אַן ערנסטן טאָן געענטפֿערט דער אָנקל מישע.

— מישענקע, האַקסטו טאַקע אונדז אויפֿן קאָפּ?

— כ׳ווייס ניט. אַז איך וועל דערהאַקן, וועלן מיר זען. און אָן אַ קעלער איז שלעכט — ניט קאַרטאָפֿל היטן, נישט שטיק פֿלייש באַהאַלטן.

אויף זײַן גליק, איידער אַרויסרופֿן די מיליציע, זײַנען שירה און מאיר געלאָפֿן אויף דער פֿאַבריק, ווו שׂרה האָט געאַרבעט אַלס נייערקע. ס׳איז געווען ניט ווײַט צו לויפֿן אויף דער פֿאַבריק. זיי זײַנען געלאָפֿן און האָבן עפּעס געשריגן דעם גאַנצן וועג. וואָס נעמלעך האָבן זיי געשריגן, וועל איך ניט זאָגן. ערשטנס, זײַנען מײַנע קענטעניש אין ייִדיש ניט גענוגנדיק פֿאַר דעם, און צווייטנס, בין איך נאָך ניט געבוירן געוואָרן. זיי האָבן זיך דורכגעריסן אין צעך און געמאָלדן שׂרהן, אַז "מישענקע איז אַראָפּ פֿון זינען שיכּורערהייט, און איצט האַקט ער זיי אויפֿן קאָפּ אַ קעלער". צוריק זײַנען זיי געלאָפֿן שוין זאַלבעדריט.

טאָן ביז דער קליינער טאַמבור פֿלעג זיך ניט אָנפֿילן מיטן אַ סקריפּנדיקן זקנישן הוסט. בלויז נאָך דעם פֿלעג זיך דערהערן אַ קלאַפּ אין דער טיר:

— מישענקע, אפֿשר ברענט בײַ דיר עפּעס?

— חלילה, ס'וואָלט מיר טומאַן געזאָגט, אויב עפּעס וואָלט געשען...

זיך אומגעקערט אַהיים אינעם געוויינלעכן פֿאַר אים צושטאַנד נאָך דעם, ווי ס'האָט זיך אים אײַנגעגעבן אונטערכאַלטורען אַ ביסל (פֿאַר די, וואָס ווייסן ניט, וואָס באַדײַט עס — הייסט עס פֿאַרדינען פֿון אַ זײַט), האָט דער אָנקל מישע באַשלאָסן צעהאַקן אויף שטיקער פֿלייש, וואָס ער האָט געקראָגן, נאַטירלעך, דורך אַ פּראָטעקציע. נו, זאָגט מיר, ווער האָט אין יענע יאָרן געקאָנט קריגן פֿלייש אויף אַ געוויינלעכן אופֿן, דאָס הייסט קויפֿן אין אַ קראָם?

ווי מאָדנע עס זאָל ניט זײַן, האָבן שירה און מאיר ניט באַמערקט דעם אָנקל מישעס קומען מיט אַ פּאַקעט. ווײַזט אויס, חוץ דעם וואַכן בײַ דער שליסל־לאָך, האָבן זיי געהאַט אויך אַנדערע ענינים. דערצו נאָך, ווי ס'איז שוין אָפּגעמערקט געוואָרן, האָבן זיי געוווינט אויפֿן ערשטן שטאָק פֿון אַן אַלטער הילצערנער הײַזערקע אַן שוויינ־געסל, און דער אָנקל מישע — אויפֿן צווייטן. אַזוי אַרום האָבן זיי אומאָנגענעם ניט באַמערקט דעם פּאַקעט מיט פֿלייש. דער אָנקל מישע האָט געשטעלט בײַם אויוון אַ קלעצל און אָנגעהויבן האַקן פֿלייש

האָרעפּאַשניקעס פֿון דער שטאָט ביראָבידזשאַן, האָט דער אָנקל מישע ליב געהאַט אַ שפּאַס טאָן מיט זײַנע שכנים. איך געדענק שוין ניט זייערע נעמען, און דאָס איז ניט וויכטיק. לאָמיר אָנרופֿן זיי שירה און מאיר. זיי זײַנען געווען ניט שלעכטע מענטשן, זיי האָבן פּשוט ליב געהאַט ליב געהאַט עפּעס אונטערהערן, עמעצן דערציילן. און דערצו האָבן זיי שטאַרק געליטן פֿון מאַנגל אין הומאָר־געפֿיל. און דאָס הומאָר־געפֿיל האָט דער אָנקל מישע עליו־השלום, ווי איר האָט שוין פֿארשטאַנען, געהאַט איבערגענוג. ווייסנדיק וועגן דער דאָזיקער געוווינהייט פֿון די שכנים, פֿלעג דער אָנקל מישע פֿאַרשאַפֿן די אַלטע לײַט ניט ווייניק קלאָפּאָטן. ער האָט, למשל, געוווּסט, אַז די זקנים האָבן ליב אונטערהערן דורך אַ שליסל־לאָך זיך אויפֿהייבנדיק פֿון זייער ערשטן שטאָק אויף זײַן צווייטן (רבונו־של־עולם האָט זיי געגעבן געזונט) און דערבײַ קענען זיי ניט לײַדן קיין טאַבעק־רויך. דערפֿאַר פֿלעג דער אָנקל מישע געלאָזט אין דער שליסל־לאָך רויך פֿונעם באַוווּסטן אין דער גאָרער וועלט "בעלאָמאָרקאַנאַל"[2]. ס'איז נאַטירלעך, אַז אין אַזעלכע מאָמענטן פֿלעג ער רייכערן "בעלאָמאָרקאַנאַל", ניט שלינגנדיק קיין רויך, דאָס הייסט אָן קיין שאָדן פֿאַר זײַן אייגענעם געזונט, און ער פֿלעג עס

[2] אַ מאַרקע פֿון גראָבע סאָוועטישע פּאַפּיראָסן.

אויף ניי־פֿאַבריק און געשמייכלט זעלטן. אָבער דווקא נאָך אים איז אין אונדזער שטאָט געבליבן דער טויטלאָזער אויסדרוק: "ספּאַסיבאָ, יאַ פּיעשקאָם פּאָסטאָיו"[1] — ווי אַן ענטפֿער אויפֿן פֿאָרשלאַג זיך צוזעצן. און אויפֿן פֿאָרשלאַג אָפּעסן פֿלעג ער בדרך־כּלל ענטפֿערן: "אַ דאַנק, איך האָב געגעסן וואַרמעס נעכטן".

דעם אַנקל מישעס בעסטער פֿרײַנד איז געווען דער הונט טומאַן. פֿאַרוואָס דער בעסטער? דער אָנקל מישע האָט עס דערקלערט מיט צוויי סיבות. טומאַן פֿלעג אים ברענגען און געבן שטעקשיך, און דאָס איז געווען זייער וויכטיק, ווײַל בעת אַ ראַדיקוליט־אַטאַקע איז דעם באַלעבאָס שווער געווען זיך אָנבייגן. און נאָך, ווײַל זיצנדיק בײַם באַלעבאָסעס פּיס, האָט טומאַן קיינמאָל ניט געבעטן קיין משקה — אים האָט געקלעקט פֿאַרבײַצעכץ כּדי זײַן גליקלעך.

ווי אַ סך עליקטריקער פֿון יענער וווּנדערלעכער צײַט האָט דער אָנקל מישע ליב געהאַט מאַכן אַ שהכּל. און ווען דער אָנקל מישע פֿלעג מאַכן אַ שהכּל, פֿלעג ער נאַטירלעך טרײַבן קאַטאָוועס מער, איידער דעמאָלט, ווען ער האָט געוואָלט מאַכן אַ שהכּל אָדער קראַנק געווען נאָכן אָנשיכּורן זיך.

ווינענדיק אין אַ קאָמונאַלער דירה, ווי דאָס רובֿ

[1] אַ דאנק, איך וועל צופּוס שטיין (רוסיש).

אַ קאַטאָוועס־טרײַבער

דער אָנקל מישע איז געשטאָרבן מיט אַ שפּאַס אויף דער צונג און מיט אַ שמייכל, וואָס ער האָט דערלויבט זיך גאָר זעלטן. וועגן דעם, ווי ער איז געשטאָרבן, וועל איך דערציילן אַ קאַפּעלע שפּעטער, און דערווײַל בעט איך אײַך, וואַרפֿט פֿונעם קאָפּ אַרויס אָט די טרויעריקע הקדמה, ווײַל וועגן אַזעלכע מענטשן, ווי דער אָנקל מישע איז ניט פֿאַרפֿירט צו ריידן אין פֿאַרגאַנגענהייט. דער אָנקל מישע איז איינער פֿון די בעסטע קאַטאָוועס־טרײַבער פֿון אונדזער שטאָט — אַ שטאָט, וואָס איז אַמאָל רײַך געווען מיט אַזעלכע מענטשן, ווי ער.

דער אָנקל מישע אַזעריאַן איז, טראָץ דעם, וואָס ער האָט געטראָגן אַן אַרמענישן פֿאַמיליע־נאָמען, געווען אַ האָפֿענונגסלאָזער ייִד. געאַרבעט האָט ער אַלס עלעקטריקער

ניין.

האָט איר ביַי זיך געווער, וואָס איז ענלעך אויף שפּילעכלעך?

...ניין.

...ניין.

...ניין.

וואָס האָט פֿון דיר געוואָלט אָט די מישפּוכע?! — האָט געפֿרעגט סאַשקע, ווען מיר זיַינען אַדורך דעם זיכערהייט־קאָנטראָל.

ס׳איז גוט, אַז זייער ייִנגל האָט ניט געפּרוּווט אַרויספֿירן מיט זיך אַ ראָיאַל. אין אַזאַ פֿאַל איז שווער צו גלייבן, אַז אויף אים וואָלט געעפֿנט זיַין בייַטל אַן אַמעריקאַנער מיליאָנער.

איז וואָס האָבן זיי טאַקע געוואָלט?

זיך באַקענען.

זייער צופֿרידענע מיט זיך טאַמאָזשעניקעס האָבן בײַ איר קאָנפֿיסקירט אַ ״קאָנטראַבאַנדע״ בצורת איין־ליטערדיקע סלאָיקע מיט רויט רויג. זיי זײַנען פֿאַרנומען געווען מיטן צונויפֿשטעלן אַן אַקט, און די מאַמע האָט צו זיי גערעדט:

קינדער, און וואָס, פּראָסט אויפֿעסן דאָס רויג אָן צונויפֿשטעלן אַ פּאַפּיר, קענט איר בשום־אופֿן ניט? עסט געזונטערהייט. איך האָב עס געפֿירט מײַנע אייניקלעך, אָבער איך מיין, אַז זיי וועלן אויך אַזוי זיך פֿרייען מיט מײַן קומען, אָן שום רויג. עסט, נאָר לאָזט מיך אַדורך איך זאָל קענען זיך צוזעצן. גאָטעניו, ווי מיד בין איך געוואָרן אין אָט דעם מעטראָ.

און איר זײַט נאָך דאָרט, אין רוסלאַנד? — האָט מיך געפֿרעגט די מאַמע, מיט וועלכער מע האָט מיך באַקענט.

ניין, איך בין דערווײַל נאָך דאָ, אין ישׂראל, נאָר איך האָף, אַז אין אַ מעת־לעת אַרום וועל איך זײַן שוין אין רוסלאַנד. איז זאָלט איר האָבן מזל!

כ׳האָב דערזען, ווי סאַשקע פּאָכעט מיר מיט דער האַנט און באַווײַזט, אַז ס׳איז די צײַט אַדורכצוגיין דעם זיכערהייט־קאָנטראָל, ווו מע האָט מיך געפֿרעגט אַ צענדליק פֿראַגן, צו וועלכע איך האָב זיך שוין צוגעוווינט:

האָט איר בײַ עמעצן גענומען פּעקלעך איבערצופֿירן?
ניין.
האָט איר בײַ זיך שפּילעכלעך ענלעכע אויף געווער?

איר האָט אַמאָל געאַרבעט אין דער צײַטונג "ווזגליאַד" און אָנגעשריבן וועגן דעם, ווי בײַ מיר האָט מען צוגענומען אַ סאַקסאָפֿאָן, — האָט זיך ווידער געווענדט צו מיר דער יונגער מאַן.

אָנגעשריבן, אָבער דאָס איז געווען מיט זיבן יאָר צוריק, און איך געדענק ניט מיט טאָלק יענעם מאַטעריאַל.

ניט וויכטיק. מיר געדענקען אים. די צײַטונג, אין וועלכער ס'איז פֿאַרעפֿנטלעכט געוואָרן אײַער נאָטיצל, איז אַרײַנגעפֿאַלן אין די הענט פֿון איינעם גאָר ניט אָרעמען ייִדן אין אַמעריקע. דורכגעלייענט עס, האָט ער מיך אָפּגעזוכט דאָ, אין ישׂראל און צוגעשיקט טויזנט דאָלאַר אויף אַ נײַעם סאַקסאָפֿאָן. האָב איך געקויפֿט אַן אינסטרומענט, און שטעלט זיך פֿאָר, דאָס אַלץ איז אַדאַנק אײַך. איצט פֿאַרשטייט איר, פֿאַרוואָס איך האָב געוואָלט אײַך באַקענען מיט מײַן מאַמען?

איך פֿאַרשטיי, מיר איז זייער אָנגענעם, בײַ אײַך איז אַ גוטע מאַמע.

אויף אַ רגע האָב איך דערזען , ווי מײַן מאַמע האָט מיט צוויי שעה צוריק מיר אַ פֿאָכע געטאָן מיט דער האַנט צום לעצטן מאָל דאָרט, אין נצרת־עלית, אויף יענעם אָרט, ווו דער וועג פֿאַרקערעוועט פֿון עגנון־גאַס אויף דער טראַסע, וואָס פֿירט צום אַעראָפּאָרט בן־גוריון. און נאָך האָב איך זיך דערמאָנט מאָסקווע פֿונעם 1991טן יאָר, דעם אַעראָפּאָרט שערעמעטיעוואָ און מײַן באַגלייטן די מאַמע, ווען

אומדערוואַרטקייט. אין ישׂראל, דרך־אגבֿ, האָט מען ניט ליב קיין אומדערוואַרטקייטן, באַזונדערס אין אַעראָפּאָרט.

איך וויל אײַך באַקענען מיט מײַן מאַמען.

ער האָט געזאָגט עס מיט אַזאַ קול, ווי מע זאָגט דער כלה, אַז מע האָט אַ כּוונה זי באַקענען מיט די עלטערן.

כ׳זע ניט קיין שטערונגען, נאָר זאָגט מיר, וואָס פֿאַר אַ שייכות האָב איך צו אײַך און צו אײַער מאַמען. אַניט, איז עפּעס ניט באַקוועם.

איך וועל אײַך אַלץ דערקלערן.

גוט, — האָב איך געענטפֿערט, — איך האָף, אַז דער מאַמען האָט איר שוין אַלץ דערקלערט.

מיר זײַנען צוגעגאַנגען צו מענטשן, פֿון וועלכע האָב איך ניט געקענט קיין איינעם.

מאַמע, — האָט געזאָגט דער בחור, וועלכער האָט מיך פֿאַרחידושט מיט זײַן בקשה, — דאָס איז סאַשע. דאָס איינציקע, וואָס איך האָב פֿאַרגעדענקט וועגן דער פֿרוי, צו וועלכער ער האָט זיך געווענדט, איז יענץ, וואָס זי איז געווען זײַן מאַמע. זי האָט געזאָגט:

אַ דאַנק אײַך.

און נאָך, דאַכט זיך, אַז די וועלט איז קליין, באַזונדערס דאָ, אין ישׂראל.

ביטע, — האָב איך געענטפֿערט, — ס׳וואָלט נאָך גוט געווען זיך דערוויסן, פֿאַרוואָס אַ דאַנק.

אירע קינדער, כּדי זיי זאָלן דאָרט, אין אַ פֿרעמד לאַנד זיך באַגיין, אַזוי ווי אין זייער געוועזן היימלאַנד, אָן איבעריקע לוקסוסן".

(די צײַטונג "ווזגליאַד", נומ. 8, דעם 18טן נאָוועמבער 1990)

אין דער היים האָט אויף מיר געוואַרט אַ האַרבסט, וואָס קאָן ניט זײַן אין ישׂראל. אין תּל־אָבֿיבֿ איז געווען פּלוס פֿיר און דרײַסיק. מײַן פֿרײַנד סאַשקע בערענהאָלץ, וועלכער איז געווען מײַן שותּף אין אָט דער נסיעה צו דער מאַמען, איז נאָך אַלץ געשטאַנען בײַם אַרײַנגאַנג אינעם אַעראָפּאָרט בן־גוריון און האָט עפּעס דערקלערט זײַנע קרובֿים, ווײַזט אויס, די סיבות, צוליב וועלכע ער וועט ניט אַריבערפֿאָרן לעבן אין דעם־אָ לאַנד. מײַן ברודער מישקע איז ערגעץ אָפּגעגאַנגען, און איך בין געווען אַליין. די מאַמע פֿלעג ניט פֿאָרן מיך באַגלייטן אין אַעראָפּאָרט, איר איז שווער געווען אויסהאַלטן די היץ. האָב איך ניט באַמערקט, ווי אַ בחור אַ יאָר פֿינף און צוואַנציק אַלט האָט זיך באַוויזן הינטער מײַן פּלייצע און אַקוראַט מיך גענומען בײַ דער האַנט.

זײַט איר דאָך דראַבקין? — האָט ער געפֿרעגט און אַ קוק געטאָן פֿריִער אויף מיר און דערנאָך אין אַ זײַט, וווּ ס'איז געשטאַנען אַ גרופּע מענטשן.

דראַבקין, — האָב איך געענטפֿערט אָן שום פֿרייד, ווײַל ס'איז במילא געווען סומנע, און דאָ איז עפּעס אַן

זיך פּשוט פֿאַרלאָרן פֿונעם דערהערטן. ס'איז ניט געגאַנגען קיין רייד וועגן גאָלדענע צירונגען, איקאָנעס, בראַנפֿן, שאָקאָלאַד־צוקערקעס. "ניע פּאָלאָזשענאָ" האָט נוגע געווען צום סאַקסאָפֿאָן — דעם טײַערסטן פֿאַר זשעניען חפֿץ פֿונעם גאַנצן באַגאַזש פֿון זײַן משפּחה. דער סאַקסאָפֿאָן — דאָס איז זײַן פֿאַרגאַנגענהייט, אין וועלכער עס בלײַבן נאָענטע מענטשן און ניגונים, דאָס איז זײַן באַליבסטע באַשעפֿטיקונג, זײַנע האָפֿענונגען אויף אַ צוקונפֿט. דאָרט, ווּהין זיי האָבן זיך איצט געקליבן אַוועקפֿאָרן, איז דער סאַקסאָפֿאָן, סוף־כּל־סוף אַ "שטיק ברויט", ווי מע זאָגט אין רוסלאַנד.

און דער רייס איז אין זעקס אַזייגער אין דער פֿרי. וואָס פֿאַר אַ מיניסטעריום גיט אַרויס ספּראַווקעס דרײַ אַזייגער בײַנאַכט? דער אַכצניאָריקער עמיגראַנט האָט געווײנט אויף די אויגן פֿון די טאַמאָזשעניקעס, די עלטערן, די באַגלייטער... זיי זײַנען איבערגעגאַנגען אין דערוואַרטונגס־זאַל און געהערט הינטער זיך דאָס באַרימטע שערעמעטיעווער "ניע פּאָלאָזשענאָ".

"ניע פּאָלאָזשענאָ" קאָנצענטרירטע מילך, גערויכערטע וווּרשט און אַנדערע נערונג־פּראָדוקטן. "ניע פּאָלאָזשענאָ" אַרויסגיין אין אַ פֿאַרמיטלונגס־אַעראָפּאָרט און, ניט ווענדנדיק זיך אין קראָמען און באַרן, ווּ מע רעדט אויף אַן אומבאַקאַנט לשון, איבערכאַפּן עפּעס און אָנהאָדעווען קינדער. די מוטער היימלאַנד דאגהט ביז דער לעצטער מינוט וועגן דערציִונג פֿון

פֿעלד צו עמיגראַציע. איך האָב אויף אײַך רחמנות, אויף אײַך אַלע אָן אַן אויסנאַם. אפֿילו באַגלייטנדיק אין וועג אַרײַן זייערע ניט געראָטענע זין, שעלטן ניט זיי די מוטערס און טרייסלען ניט איבער זייערע פּעקעלעך — צי האָט דער אַוועקפֿאָרנדיקער ניט פֿאַרכאַפּט פֿון דער היים עפּעס איבעריקס!

ביינאַכט צווישן דעם זיבעטן און דעם אַכטן נאָוועמבער, ווען די טעלעוויזיע האָט טראַנסלירט די יום־טובֿדיקע דעמאָנסטראַציע אויפֿן רויטן פּלאַץ, אינעם שערעמעטיעווער אַעראָפּאָרט איז געגעאַנען אַ רעגיסטראַציע פֿון פּאַסאַזשירן־עמיגראַנטן. די געוועזענע בירגער פֿונעם סאָוועטן־לאַנד האָבן רעגיסטרירט זייער באַגאַזש און פֿאַרפֿילט דעקלאַראַציעס. זיי האָבן אויף גיך זיך געזעגנט מיט זייערע נאָענטע און געקוקט מיט פֿאַרבלענדטע פֿון טרערן אויגן אויף די טאַמאָזשעניקעס, וועלכע האָבן אויפֿמערקזאַם געפּאָרשט דאָס אינהאַלט פֿון זייערע קוישלעך און טשעמאָדאַנען.

ניע פּאָלאָזשענאָ[2], — האָבן זיי פּלוצעם געהערט און נאָכגיביק אָפּגעגעבן זייערע באַגלייטער די "איבעריקע חפֿצים". ניע פּאָלאָזשענאָ... אָן אַ ספּראַווקע פֿונעם קולטור־מיניסטעריום...

דער געוועזענער ביראָבידזשאַנער זשעניע קריגער האָט

[2] דאָ –— ניט דערלויבט (רוסיש).

צײַטונגען, וועלכע האָבן געגאָסן דעמאָלט נאָך אַ שוואַכע שײַן אויף דער עמיגראַציע.

אין יענער צײַט האָב איך געאַרבעט אַלס קאָרעספּאָנדענט פֿון דער צײַטונג "ביראָבידזשאַנער שטערן", און נאָך האָבן מיר צוזאַמען מיטן זשורנאַליסט לעאָניד שקאָלניק אַרויסגעגעבן די ערשטע אויפֿן ווײַטן מיזרח אומאָפּהענגיקע צײַטונג "ווזגליאַד". אָט די צײַטונג האָט דורכגעלייגט די ערשטע סטעזשקעס פֿאַר אַן אָביעקטיווער אינפֿאָרמאַציע וועגן דעם לעבן אין ישׂראל און די ערשטע פּראָבלעמען פֿון אונדזערע לאַנדסלײַט, וועלכע האָבן פֿאַרלאָזט דאָס היימלאַנד.

דעם 5טן נאָוועמבער 1990 האָב איך באַגלייט קיין ישׂראל מײַן ייִנגערן ברודער מישקע, און אומגעפֿער אין אַ וואָך אַרום האָט לעאָניד שקאָלניק פֿון עמעצנס ווערטער אָדער לויט אַ בריוו פֿון אַ לייענער דערציילט מיר וועגן אַ צופֿאַל אויף שערעמעטיעווער טאַמאָזשניע. ער האָט פֿאָרגעלייגט אָנשרײַבן וועגן דעם. לויט דער צײַט האָט זיך באַקומען אַזוי, אַז מײַן מישקע איז אַוועקגעפֿלויגן מיט דעם זעלבן רייס, און דעריבער האָב איך געשריבן מיט מײַן אייגענעם ווייטיק. דאָס נאָטיצל האָט געהייסן "אַן עמיגראַנטישע נאָוועלע", און איך ברענג עס וואָרט בײַ וואָרט אָן שום קירצונגען:

"איך בין איצט ווײַט. איך בין אַכט טויזנט קילאָמעטער ווײַט פֿון די מענטשן, וואָס גייען איבערן ריזיקן שערעמעטיעווער

אָן אים אין דער פֿרעמד האָט די נשמה ניט געקאָנט לעבן.

מישענקע, — האָט געזאָגט די מאַמע מײַן ברודער, וועלכער האָט געהאַלטן בײַם אַוועקפֿאָרן קיין ישׂראל אין נאָוועמבער 1990, — וועסט אפֿילו ניט נעמען מיט זיך די גליטשערס?

מאַמע, — האָט ער געענטפֿערט, — גליטשערס — דאָס איז די איינציקע זאַך, אָן וועלכער איך וועל ניט קענען זיך באַגיין, אָבער איך וועל זיך אײַנהאַלטן ביז נאַכטפֿרעסטלעך. דערנאָך וועל איך זיך קויפֿן נײַע גליטשערס.

ערשטנס, ווו האָט איר געזען נאַכטפֿרעסטלעך אין ישׂראל? און צווייטנס, האָט ער טאַקע גענומען מיט זיך די גליטשערס. און ער האָט געגליטשט אויף זיי. די אָפּוועזנהייט פֿון פֿרעסט איז נאָך ניט קיין סימן פֿון דעם, אַז אויך אײַז איז אָפּוועזנד.

ביראָבידזשאַנער עמיגראַנטן פֿון יענע יאָרן זײַנען געווען פֿאַר זייערע לאַנדסלײַט די ערשטע אַנטדעקער פֿונעם היסטאָרישן הײמלאַנד, וועלכע האָט זיך פּלוצעם גאָט ווייס פֿונוואַנען גענומען. אין זײַן ריי האָט דאָס "פֿרע־היסטאָרישע היימלאַנד", הייסט עס ביראָבידזשאַן, זיי ליב געהאַט און דערפֿאַר ס'איז גענוג געווען, אַז די אַוועקפֿאָרנדיקע זאָלן זיך אײַנזעצן אין אַעראָפּלאַן, ווי זייערע פֿרײַנד און נאָענטע האָבן אָנגעהויבן שטורמיש בענקען נאָך זיי. בריוו פֿלעגט מען איבערלייענען ביז לעכער. מע פֿלעגט זיי פֿאָרלייענען איינער דעם צווייטן אין טעלעפֿאָן. איך רעד שוין ניט וועגן

דער באַיאַניסט פֿון דער אילתער ברעג־גאַס האָט געטויגט אויף כּפּרות. האָב איך דערפֿילט אַ חשק נעמען דעם אינסטרומענט און העלפֿן אים פֿאַרדינען אַ פּאָר שקלים. איך האָב שיער ניט געבעטן בײַ אים אַ דערלויבעניש אַ שפּיל צו טאָן, אָבער ער האָט צוליב עפּעס אַ סיבה אַנטשוויגן, פֿאָרזיכטיק, ווי אַ קינד, אויפֿגעהויבן דעם אינסטרומענט און איז אַוועק ערגעץ־ווו אין דער ריכטונג פֿונעם אילתער אײַנגוס. אפֿשר האָט אים אין יענעם אָוונט געסטײַעט דאָס פֿאַרדינטע. ס'איז אינטערעסאַנט, צי האָט ער געהאַט פּראָבלעמען מיט טאַמאָזשניע בײַם אַריבערפֿירן דעם באַיאַן? פֿאַרוואָס אינטערעסירט עס מיך? וועל איך דערציילן. אַפֿשר איײַך וועט עס זײַן אינטערעסאַנט.

די ערשטע עמיגראַנטן, וועלכע זײַנען אַרויסגעפֿאָרן קיין ישׂראל און קיין דײַטשלאַנד, פֿלעגן אַלץ, וואָס זיי האָט זיך ניט אײַנגעגעבן צו פֿאַרקויפֿן, פֿאַנאַנדערשענקען סתּם אַזוי, אויף אַ גוטן אָנדענק. בײַ מיר, למשל, ביז איצט שטייט אַן עלעקטריש פֿליישמילכל, וואָס עס האָט מיר אַמאָל געשאָנקען אַ חבֿר, וועלכער איז אַוועקגעפֿאָרן קיין דײַטשלאַנד. אַ גוט פֿליישמילכל. ער וואָלט געקענט עס נעמען מיט זיך, אָבער אויף וואָס, זאָגט מיר, דאַרף ער שלעפּן אין דײַטשלאַנד אַ דײַטשיש פֿליישמילכל? אַן איבעריקע לאַסט און גאָרנישט מער. מיט זיך פֿלעגט מען נעמען דאָס סאַמע נייטיקסטע כּדי בלײַבן לעבן און זיך שטעלן אויף די פֿיס, און נאָך יענץ, וואָס

אַן עמיגראַנטישע נאָוועלע

דער באַיאַניסט האָט געשפּילט שלעכט, און דער באַיאַן איז געווען אַן אַלטיטשקער. ער האָט אומצופֿרידן געשיפּעט, ווען מע האָט אים געצוווּנגען צוגעבן דעם וואָליום. אָבער דאָס איז געווען אַ באַיאַן. ער האָט געשפּילט אין ישׂראל, אין דער שטאָט אילת, גלײַך אויף דער ברעג־גאַס, אויסגעבנדיק עפּעס, וואָס האָט ווי־ניט־איז דערמאָנט דעם וואַלס "אויף סאָפּקעס פֿון מאַנטשזשוריע". דאָ, ממש אַקעגן דעם ירדנישן ברעג האָט געשפּילט דער געליבטער דורך מיר באַיאַן, פּונקט אַזאַ, ווי ס'איז געווען בײַ מיר אַמאָל אין קינדהייט. שפּעטער, ווען איך האָב געדינט אין סטרויבאַט, האָבן אים בשעת אַ געשלעג אינעם סאָלדאַטן־קלוב צעטאָפּטשעט שיכּורע דעמבעלן[1]. איך האָב דעמאָלט געוויינט.

[1] וועטעראַנען, סאָלדאַטן, וועלכע האַלטן בײַם פֿאַרענדיקן זייער דינסט־טערמין און זיך דעמאָביליזירן (סלענג).

אַ געוויסנהאַפּטיקער סאָלדאַטישער מי אויסגעפּילט אונדזער בירגערלעכן חובֿ פֿאַרן היימלאַנד. אין דער קאַזאַרמע, ווו איך בין אַריַין דער לעצטער, איז געווען אומגעוויינלעך פֿינצטער און רעשיק, זידלעריַי האָט זיך איבערגעמישט מיט ווייגעשרייען — ס׳איז געווען אַ שטעכעריַי צווישן רוסן און אַזערבייַדזשאַנער. אין דעם געשלעג האָט קיינעם ניט געאַרט, אַז איך בין אַ ייִד. און דערפֿאַר האָט עמעצער שוין אין אַ מינוט אַרום מיר אַ שטאָך געטאָן מיט אַ זאַטאָטשקע[2] פֿון אונטן צום אויב. אָט איז איַיך אַ געלער הונט, — האָב איך אַ טראַכט געטאָן. און נאָך האָב איך אַ טראַכט געטאָן: אָט פֿאַרוואָס, וויַיזט זיך אויס, ווען איך פֿלעג זאָגן דער באָבען, אַז מיר האָט זיך געחלומט אַ נאַרישער חלום, און געפּרוּווט אים דערציילן, פֿלעג זי מאַכן מיט דער האַנט אין אַ זיַיט און וואָרטשען: "די נאַראָנים חלומען זיך נאַרישע חלומות. גיב אַ קוק אין פֿענצטער און זאָג: ווּהין די נאַכט, אַהין דער חלום".

---

[2] אַן אימפּראָוויזירטער מעסער.

...אין אַ באַזונדערער קאַמער פֿונעם כאַבאַראָווסקער אויספֿאָרשונגס־איזאָלאַטאָר, אין דער קאַמער פֿון פֿאַראורטיילטע אויף טויט האָט זיך פֿונעם סקריפּ פֿון דער טיר אויפֿגעוועקט פּיזעס מאַן סאַשקע. אַן עסיקער רויך האָט מיט די גראָווע פּאַטלעס פֿון רבֿקה סאָסינע אַ פּליעסקע געטאָן פֿון פּיסטאָלעט־רער אין זײַן פּנים. זיך אָנגעבויגן איבערן צעשאָסענעם, האָט אַ דאָקטער קאָנסטאַטירט דאָס קומען פֿון טויט, און אַ פּראָקוראָר האָט געשטעלט אַ פּונקט אינעם אָפּצאָלונג־פּראָטאָקאָל. מיט דער צײַט האָב איך אָנגעהויבן באַמערקן, אַז בייזע חלומות ווערן מקויים אַ סך עפּטער, איידער גוטע. אָט ווי, למשל, פֿלעג זאָגן מײַן מאַמע, וועלכע האָט געדענקט פֿון זײַן פֿאָטער יעקבֿ, אַז אויב עס חלומט זיך אַ געלער הונט, איז דאָס אָבליגאַטאָריש צו אַ פֿײַנט און צו צרות, אויף וועלכע מע דאַרף וואַרטן פֿון דעם דאָזיקן פֿײַנט. און וואָס מיינט איר? אין אַרמיי — און איך האָב געדינט אין סטראָיבאַט[1] — האָב איך דערזען אין אַ חלום אַ געלן הונט, וועלכער האָט מיך געביסן. איך האָב דעם גאַנצן טאָג אויסגעמיטן קאָנפֿליקטן און געשלעגן — און דאָרט, ווו איך בין געווען, אויסמײַדן זיי איז געווען שווער. בײַנאַכט האָבן מיר זיך אומגעקערט פֿונעם זאַוואָד, ווו מיר האָבן מיט

[1] בוי־באַטאַליאָן.

געקומען, און רבֿקה, וועלכע האָט מיט התפּעלות אויף אים געוואַרט, איז פֿון דעם גליק אַראָפּ פֿון זינען. ווען יאָסקע איז אַרײַן אין שטוב, האָט זי אויף אים אַ קוק געטאָן און געפֿרעגט: "האָסט געבראַכט ניס?"... מע זאָגט, אַז זי איז געווען די שענסטע משוגענע פֿון אַלע די, וועמען מע האָט געקענט אינעם ייִשובֿ.

יאָסקע איז אויך געווען זייער אַ שיינער און אַ שטאַרקער. ער איז אַדורך די מלחמה און, ווי מע האָט זיך דערנאָך דערוווּסט, געפּײַנקעניש, אָבער קיין לעבן מיט רבֿקהן האָט זיך בײַ אים ניט באַקומען. און ער איז אַוועק. ווּהין און צו וועמען - האָט קיינער ניט געוווּסט. "יאָסקע וועט קומען, — האָט געהאַלטן אין איין טענהן רבֿקה, קוקנדיק אויף איר אָפּשפּיגלונג אין דער ריטשקע, — ער קלײַבט ניס און וועט קומען, יעקבֿ האָט געזאָגט".

אין 1956 איז געשטאָרבן יעקבֿ. מע האָט אים באַגראָבן אין אַ טרונע, ווי מע האָט באַגראָבן רוסן. אָבער נאָך דער לוויה האָט זיך אין זײַן שטוב צונויפֿגעקליבן אַ מניין. זיי האָבן געדאַוונט. און געגעסן ברויט, טוקנדיק עס אין ווײַן, און הינטער די פֿעצטער פֿון דער שטוב האָט געבלאָנדזשעט אַ זקנה מיט גראָווע פּאַטלעס. זי האָט געהאַלטן אין די הענט די אויסגעריבענע מעלדונג וועגן דעם שפּורלאָז נעלם געוואָרענעם און געטענהט: "יאָסקע וועט קומען". די מאַנצבלען האָבן זי ניט געהערט. זיי האָבן געדאַוונט.

ער, יעקבֿ, דאַרף אָפּרוען. רבֿקה איז אַרויס און בשעת זי איז געגאַנגען ביז דער ריטשקע, האָבן אַלע געהערט, ווי זי וויינט.

אסתּרקע האָט געוווּסט, אַז איר מאַן יעקבֿ קאָן ניט דערציילן אַלץ, ווײַל די מענטשן איז איצט שלעכט אויך אָן בייזע נבֿואות. יעקבֿ האָט תּמיד געמיאוסט פֿון שקר. אָבער דערבײַ האָט ער געהאַלטן, אַז פֿאַרשווײַגן הייסט ניט לײַגן.

— יעקבֿ, — האָט אַ פֿרעג געטאָט אסתּרקע, — יאָסקע איז שוין ניטאָ?

— יאָסקע וועט קומען ווען־ניט־איז. אָבער לעבן וועלן זיי ניט. רבֿקה וועט האָבן אַ מיתה־משונה... זאָג מיר, אַסתּר, צוליב וואָס דאַרף רבֿקה פֿון דעם וויסן?

ווּהין די נאַכט, אַהין דער חלום, — האָט אומזיכער געזאָגט אסתּר און אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט אין אַ זײַט.

"יאָסקע וועט קומען", — האָט געהאַלטן אין איין זאָגן רבֿקה אַלעמען, ווער עס האָט זי געפֿרעגט. — יאָסקע וועט קומען, אַזוי האָט געזאָגט דער אַלטער יעקבֿ.

און די מענטשן האָבן געגלייבט.

ווען די מלחמה האָט זיך פֿאַרענדיקט, האָט יעקבֿ נאָך געלעבט. און יאָסקע איז אַלץ ניט געקומען.

"יאָסקע וועט קומען", — האָט געהאַלטן אין איין טענהן רבֿקה, — אַזוי האָט יעקבֿ געזאָגט, ער לײַגט קיינמאָל ניט.

און יאָסקע איז טאַקע געקומען. ווּ איז ער געווען נאָך אַ יאָר נאָך דער מלחמה, האָט קיינער ניט געוווּסט. יאָסקע איז

דעם לעבן, וועגן חלומות און וועגן זייער טײַטש. אין יענע יאָרן האָבן די מענטשן זיך געניייטיקט אין פּאָרויסזאָגונגען מער, איידער איצט אין האָראָסקאָפּן, ווײַל ס׳איז געגאַנגען די מלחמה, און זי האָט צעטיילט משפּחות אויף די, וואָס זײַנען אַוועק אויפֿן פֿראָנט, און אויף יענע, וואָס האָבן געוואַרט אויף זיי. מענטשן, וועלכע זײַנען שלעכט געשלאָפֿן צוליב דער מלחמה, פֿלעגן באַהאַנדלען זייערע חלומות, און דערנאָך פֿלעגן זיי גיין צו יעקבֿן. און ער פֿלעג אין זײַן ריי אויפֿמערקזאַם אויסהערן די מענטשן און עפּעס פּאָרויסזאָגן. און מע זאָגט, אַז זײַנע פּאָרויסזאָגונגען פֿלעגן מקוים ווערן.

אין 1943 האָט רבֿקה סאָסינע, די שענסטע פֿרוי אין ביראַקאַן, באַקומען אַ מעלדונג וועגן דעם, אַז איר מאַן יוסף איז שפּורלאָז נעלם געוואָרן. אַלע האָבן געוויינט, און זי האָט ניט געגלייבט און איז געגאַנגען צום אַלטן יעקבֿ און האָט דערציילט, אַז יאָסקע איז איר געקומען אין חלום און האָט געזאָגט, אַז ער וועט קומען, ווען ער וועט אָנקלײַבן אין טײַגע ניס כּדי פֿאַרקויפֿן זיי און קויפֿן אַ נײַ הויז. דערנאָך האָט יאָסקע כּלומרשט זיך אַוועקגעזעצט אין פּאָיעזד און איז אין ערגעץ אַוועקגעפֿאָרן. און רבֿקה האָט אים געשריגן ער זאָל ניט אַוועקפֿאָרן, ווײַל אין ביראַקאַנער סאָפּקעס איז במילא פֿאַראַן אַ ים מיט ניס, אָבער יאָסקע האָט איר ניט געפֿאָלגט. דער אַלטער יעקבֿ האָט געזאָגט, אַז דער חלום איז אַ גוטער, יאָסקע וועט זיך אומקערן, און נאָך האָט ער געזאָגט, אַז

און ווו מײַן מאַמע האָט געאַרבעט ווי אַ קאָמענדאַנטין, האָט געווינט אַ פֿרוי מיטן נאָמען פּיזע. איך געדענק ניט איר אויסזען, איר פֿאַמיליע־נאָמען. איך געדענקט נאָר, אַז מע האָט זי גערופֿן פּיזע. ס׳איז אַלץ. איין מאָל איז זי געקומען צו אונדז אַהיים און, וויינענדיק, באַוויזן עפּעס אַ דאָקומענט. ווי עס האָט דערנאָך געזאָגט עמעצן פֿון אירע באַקאַנטע די מאַמע, איז דאָס געווען אַ מעלדונג וועגן אויספֿילן דעם געריכט־באַשלוס צעשיסן פּיזעס מאַן סאַשקע פֿאַרן גוואַלדעווען און מערדן די אַלטע רבֿקה סאָסינע. די מאַמע האָט נאָך דערציילט וועגן דעם נבֿיאות פֿון איר פֿאָטער, דעם אַלטן יעקבֿ, וועלכער איז געווען דער סאַמע באַוווּסטער פּותר־חלומות אינעם יִשובֿ ביראַקאַן און אין זײַן אומגעגנט.

דער אַלטער יעקבֿ איז געווען אַ סוכאָטניק. ער האָט ניט געאַרבעט און איז ווייניק געשלאָפֿן. און ווייניק געשלאָפֿן איז ער, ווײַל ער האָט ניט געקאָנט אַרבעטן און אַוועקגיין אויפֿן פֿראָנט און גענומען עס זייער שטאַרק צום האַרצן. יעקבֿ האָט געהאַט דרײַ קינדער: מײַן מאַמע, איר עלטערער ברודער מיכאל און איר ייִנגערע שוועסטער מאַיע.. די קינדער האָבן שטענדיק געוואָלט עסן, און אויפֿן עסן האָט פֿארדינט בלויז דאָס ווײַב, די באַוווּסטע אין יענע יאָרן שנײַדערקע אסתּרקע גערשטיין. איך וועל אײַך ניט מטריח זײַן מיט פּרטים פֿונעם שטייגער פֿון דער ייִדישער משפּחה. איך וועל נאָר זאָגן, אַז יעקבֿ דער סוכאָטניק האָט געהאַט צײַט צו טראַכטן וועגן

ווּהין די נאַכט, אַהין דער חלום

ווען איך הייב אָן אַ דערציילונג פֿון די ווערטער "אַ סך יאָרן צוריק", פֿיל איך זיך אַ זקן און. זענענדיק זיכער, אַז ס'איז ניט אַזוי, פֿאַרבײַט איך אָט די ווערטער אויף אַנדערע, און שטעלט זיך פֿאָר - פֿיל איך זיך ייִנגערער. באַזונגערס, ווען איך דערצייל וועגן דער מאַמען און וועגן מײַן קינדהייט.

איך שרײַב וועגן יענע געשעעענישן אַזוי, ווי איך האָב זיי פֿאַרגעדענקט פֿון מײַן מאַמעס דערציילונגען. און זאָלן לייענער ניט האָבן צו מיר קיין טענות, אויב זיי וועלן דערזען אַ פֿאַרקריפּלונג פֿון פֿאַקטן. דאָס איז פֿאָרט אַ דערציילונג און ניט קיין לערנבוך פֿאַר געשיכטע.

אין דער פֿרויען־צוזאַמענווינונג, ווו איך בין אויסגעוואַקסן

דער מלוכה־זיכערהייט. פֿאַר סלאַווען איז דער קאַדער געווען ווערט צענדליקער פֿריִער געמאַכטע פֿאַרן רעדאַקטאָר קאַדרען. אָבער מילא, לגבי דעם וועט נאָך באַשליסן די ביוראָ פֿונעם געגנטקאָם פֿון דער פּאַרטיי. איַיך אינטערעסירט אוודאי, וואָס איז געווען אויף דעם פֿאָטאָ־בילד? אויף דעם איז דער קעמפֿער פֿאַר עקאָלאָגיע, דער פֿאָלקס־קטגור און דער אַקטיווער אויסערשטאַטנער קאָרעספּאָנדענט פֿון דער צייַטונג "ביראָבידזשאַנסקאַיאַ זוועזדאַ", דער פֿאָרשטייער פֿון דער סאַמע שעפֿערישער אינטעליגענץ פֿון ביראָבידזשאַן נחום... געגאַנגען, גאָרנישט וויסנדיק, איבער אַ גאַזאָן — דעם איינציקן ניט אויסגעטאָפּטשעטן גאַזאָן פֿון דער שטאָט, גלייַך אַקעגן דער קאַ.־גע.־בע.־פֿאַרוואַלטונג.

אַנטוואָפּענער סלאַווע — בײַ אים האָט מען צוגענומען זײַן פֿאָטאָ־אַפּאַראַט «קיִעוו». ווו און פֿאַרוואָס האָט מען אים צוגענומען, האָט דער רעדאַקטאָר זיך דערוווּסט אין עטלעכע מינוט אַרום. און אָט די מינוטן האָבן, אגבֿ, אים געקאָסט אויסגעריסענע פֿון זײַן לעבן יאָרן. במשך פֿון אָט די עטלעכע מינוטן האָט דער קאַ.־גע.־בע.־נאַטשאַלניק דערקלערט דעם רעדאַקטאָר, אַז דעם מיטאַרבעטער פֿון דער צײַטונג, מיט וועלכער ער פֿירט אָן, האָבן פֿאַרהאַלטן קאַ.־גע.־בע.־מיטאַרבעטער סאַמע אין יענעם מאָמענט, ווען ער האָט זיך באַהאַלטן מיטן פֿאָטאָ־אַפּאַראַט אין די הענט אין קוסטן פֿונעם סקווער, וועלכער געפֿינט זיך ממש אַנטקעגן דער קאַ.־גע.־בע.־פֿאַרוואַלטונג. סלאַווע האָט געפֿירט אַ נאָכשפּירונג און געמאַכט אפֿילו צוליב דעזשורנעס נאַכלעסדיקייט (ער וועט נאָך פֿאַר דעם כאַפּן אַ פּסק!) איין פֿאָטאָ־בילד. קען מען פֿאַרשטיין דעם רעדאַטקאָרס צושטאַנד נאָך אַלץ, וואָס ער האָט דערהערט? שטעלט זיך פֿאָר: זיצן אין אַ לאָקערונג און נאָך ווו — פֿאַרשטייט איר אַליין...

נאָך די עטלעכע שוידערלעכע מינוטן האָט מען אינעם קאַבינעט געבראַכט אַן אַנטפּלעקטע פֿאָטאָ־טאַשמע און אַן אָפּגעדרוקט פֿאָטאָ־בילד: די טאַשמע האָט מען אַרויסגענומען פֿון סלאַוועס פֿאָטאָ־אַפּאַראַט. ער האָט באַוויזן מאַכן בלויז איין קאַדער, וואָס לשם אים איז ער געזעסן אין דער לאָקערונג און פֿאַרהאַלטן געוואָרן דורך וואַכזאַמע מיטאַרבעטער פֿון

געווען אילוסטרירן אַ נאָטיצל וועגן מענטשן, וועלכע גייען איבער גאַזאָנען.

— איצט איז אַלצדינג קלאָר, — האָט געזאָגט דער נאַטשאַלניק פֿון קאַ.־גע.־בע. און אַוועקגעלייגט דאָס טרײַבל צוליב עפּעס אַ סיבה אָן געזעגענען זיך.

— ווי געפֿעלט עס אײַך? אים איז אַלצדינג קלאָר! — האָט זיך באַליידיקט דער רעדאַקטאָר. — וואָס איז קלאָר? ווהין האָט געטראָפֿן אָט דער שלים־מזל, און בכלל וואָס איז דאָ שייך מײַן אויפֿגאַבע? האָט מען בײַ אונדז געמאַכט געהיים גאַזאָנען, ווײַל פֿון זיי פֿליִען אַרויף קאָסמישע שיפֿן? ער האָט אַפֿילו ניט געזאָגט "אויף ווידער זען". און טאַקע יאָ. צוליב וואָס זיך געזעגענען, אויב מע וועט אין גיכן נאָך דיר קומען צו פֿאָרן און מע וועט זיך ווידער זען.

מײַן מאַמע וואָלט לגבי דעם געזאָגט, אַז דער רעדאַקטאָר האָט גלײַך ווי געקוקט אין וואַסער אַרײַן. ער האָט דאָך איבערגעלעבט יענע צײַט, וועלכע מע פֿלעגט שפּעטער דערמאָנען מיט אַ ניט־גוט וואָרט, און קיינער האָט ניט געקאָנט גאַראַנטירן, אַז די טרויעריקע געשעענישן פֿון יענע יאָרן וועלן זיך ניט איבערחזרן.

און זיי, דער רעדאַקטאָר און דער נאַטשאַלניק, האָבן זיך טאַקע באַגעגנט שוין מיט אַ שעה שפּעטער אין דער פֿאַרוואַלטונג פֿון קאַ.־גע.־בע. אינעם נאַטשאַלניקס קאַבינעט. דאָרט איז געזעסן אַ הונגעריקער, אַ צעמישטער און אַן

דער פֿאַרשווינדונג האָט אינעם רעדאַקטאָרס קאַבינעט אַ קלונג געטאָן דער טעלעפֿאָן, און דער אָנפֿירער פֿון דער געגנטלעכער דרוק־אויסגאַבע האָט דערהערט דאָס באַקאַנטע ביזן האַרץ־ווייטיק קול פֿונעם נאַטשאַלניק פֿון דער געגנטלעכער פֿאַרוואַלטונג פֿון קאַ.־געּ.־בעּ. דער נאַטשאַלניק האָט זיך אינטערעסירט מיט דעם רעדאַקטאָרס געזונט. דער רעדאַקטאָר האָט באַדאַנקט, געזאָגט, אַז אויפֿן געזונט האָט ער ניט וואָס צו באַקלאָגן זיך. נאָר ער האָט געלייגט. אין יענעם מאָמענט האָט ער דווקא יאָ און זייער געקאָנט זיך באַקלאָגן אויפֿן געזונט. אָבער ניט דעם נאַטשאַלניק פֿון דער קאַ.־געּ.־בעּ.־פֿאַרוואַלטונג זאָל ער דאָך זיך באַקלאָגן, ריכטיק?

נאָך דעם העפֿטלעכקייטן־אויסטויש מיטן רעדאַקטאָר האָט דער געגנטלעכער הויפּט־קעמפֿער פֿאַר מלוכהשער זיכערהייט געפֿרעגט צי אַרבעט ניט אין דער צײַטונג איינער אַ סלאַווע, און אָנגערופֿן דעם פֿאַמיליע־נאָמען פֿונעם שפּורלאָז נעלם־געוואָרענעם זשורנאַליסט. דער רעדאַקטאָר האָט געענטפֿערט, אַז שוין צוויי טעג ווי ער אַרבעט ניט, אָבער ער רעכנט זיך נאָך אַלץ אינעם שטאַט ביז ס'וועט זיך אויסקלאָרן די סיטואַציע. דעמאָלט האָט דער נאַטשאַלניק אַ פֿרעג געטאָן, וואָס פֿאַר אַן אויפֿגאַבע פֿונעם רעדאַקטאָר האָט סלאַווע באַקומען ערבֿ זײַן נעלם ווערן. דער רעדאַקטאָר האָט געענטפֿערט, אַז ער געדענקט שוין ניט, ווײַל ער איז זייער אויפֿגערודערט, אָבער, ס'איז מעגלעך, אַז די אויפֿגאַבע איז

נאָך אַ נאָטיץ. גאַזאָנען זײַנען אין יענע יאָרן געווען ווייניק, אַ סך ווייניקער איידער פּובליקאַציעס אויף אָט דער טעמע.

לשם יושר איז כּדאי צו זאָגן, אַז זײַנע שאַפֿונגען זײַנען דערעסן געוואָרן אַלעמען, נאָר אַמערסטן — דעם יונגן נאָך דעמאָלט קאָרעספּאָנדענט סלאַווע, וועלכן די אָנפֿירונג פֿלעג פּעריאָדישוויַיז פֿאַרפֿליכטן מאַכן פֿאָטאָ־בילדער צו אילוסטרירן נחומס נאָטיצן. און ס׳וואָלט נאָך געווען נישקשה: נחום וואָלט ווײַטער געשריבן, סלאַווע וואָלט זיך ווײַטער געבייזערט, נאָר פֿאָטאָגראַפֿירט, ווען ניט דער צופֿאַל, וואָס האָט אויפֿגעטרייסלט אַלע פֿירנדיקע מיטלען פֿון מאַסן־אינפֿאָרמאַציע פֿון דער געגנט.

סלאַווע האָט אַן אָרדנטלעך מאָל באַקומען דעם רעדאַקטאָרס אויפֿגאַבע, גענומען זײַן פֿאָטאָ־אַפּאַראַט און איז נעלם געוואָרן. ניט פּשוט נעלם געוואָרן, נאָר נעלם געוואָרן שפּורלאָז מער ווי אויף אַ מעת־לעת. און דאָס איז געווען אין יענע צײַטן אָן פֿאַרצושטעלן אַ ספּראַווקע צי אַ קראַנקהייט־צײַגעניש אַן אויסערגעוויינלעכער צופֿאַל פֿון אַ ריזיקן מאַסשטאַב. מע האָט אים געזוכט, מע איז געפֿאָרן צו אים אַהיים און אַפֿילו האָט מען געקלונגען אין שפּיטאָל און אין מאָרג. דאַנקען גאָט, ניט אינעם שפּיטאָל און נישט אינעם מאָרגן האָט מען סלאַווען ניט געפֿונען. דאָס האָט געלאָזט אַ האָפֿענונג אויף אַ בשלומדיקן אויסוועג.

צום סוף פֿונעם צווייטן טאָג זינט דעם מאָמענט פֿון

מיטאַרבעטער, וועלכע מע האָט געצאָלט פֿאַר זייער אַרבעט אַ געהאַלט, נאָר אויך אויסערשטאַטנע. זיי האָט מען אויך אַ ביסל געצאָלט און גערופֿן זיי ״דאָרפֿקאָרן״, הייסט עס דאָרפֿישע קאָרעספּאָנדענטן, און ״אַרבקאָרן״, הייסט עס אַרבעטער־קאָרעספּאָנדענטן. איינער פֿון זיי איז געווען נחום. ער איז ניט געווען קיין האָרעפּאַשניק פֿון דאָרפֿישער ווירטשאַפֿט און אויך ניט קיין אינדוסטריע־אַרבעטער. בעסער וואָלט געווען זאָגן, אַז ער האָט געקעמפֿט אויפֿן פֿראָנט פֿון שׂכלדיקער מי. דעם וואָרקאָהאָליקער נחום האָט שטענדיק ניט געקלעקט קיין אָנלאָדונג אויף זײַן עיקרדיקן אַרבעטס־אָרט. און אַפֿשר אויך קיין געלט, איז ער האָט אַקטיוו געשריבן נאָטיצן אין די געגנטלעכע צײַטונגען. און געטאָן האָט ער עס ניט בלויז לשם האָנאָראַר. זײַנע כּוחות האָט נחום געפּטרט לשם נצחון פֿונעם געזונטן לעבנס־אַרט איבערן אומגעזונטן, און נאָך לטובֿת דעם קאַמף קעגן ברעכער פֿון דער געזעלשאַפֿטלעכער אָרדענונג, וועלכע פֿלעגן אומברחמנותדיק און חוצפּהדיק אויסטאָפּטשען די שטאָט־גאַזאָנען. אויב אָט די ברעכער וואָלטן כאָטש איין מאָל דורכגעלייענט אַלע זײַנע פּובליקאַציעס, וואָלטן זיי געשטאָרבן פֿון בושה, אָבער זיי האָבן, ווי־זײַט אויס, ניט געלייענט קיין צײַטונגען און ממשיך געווען אַרומגיין איבער גאַזאָנען פֿרײַ, ווי ביראָבידזשאַנער פֿלעגן אין יענער צײַט גיין איבער הילצערנע טראָטואַרן, און האָבן פֿון קיינעם קיין מורא ניט געהאַט. אָבער דאָ איז נאַט אײַך: נחום — נאַט, באַקומט

אַמאָל זייער לאַנג צוריק

עס האָבן געלעבט אין ביראָבידזשאַן מענטשן, וועלכע האָבן געקענט שפּאַסן, זען אַ לעכערלעכס אין אַ טרויעריקס און דער עיקר דערציילן וועגן דעם אַזוי, אַז אַלע האָבן הנאה געהאַט פֿונעם הערן. דאָס איז געווען אַמאָל זייער לאַנג צוריק, איצט איז געבליבן נאָר אָפּזוכן זייערע שטימען אין דער פֿאַרגאַנגענהייט, זיך דערמאָנען און דערציילן אײַך וווּנדערלעכע מעשׂיות פֿונעם לעבן פֿון אונדזער וווּנדערלעכער שטאָט.

געווען אַזאַ פּעריאָד, ווען איך האָב געאַרבעט אין דער צײַטונג "ביראָבידזשאַנער שטערן", ווו איך האָב דערהערט אָט די מעשׂה.

אויב עמעצער ווייסט ניט, וועל איך דערמאָנען, אַז אין די געגענטלעכע צײַטונגען האָבן געאַרבעט ניט בלויז שטאַט־

ניט! — און די אַלטע האָט זיך צעוויינט, אָבער ס׳איז גלײַך געוואָרן ניט צו דערהערן איר געוויין, ווײַל נאָך איר האָט אָנגעהויבן צו וויינען אסתּרקע־גראַמאָפֿאָן.

פֿון דעמאָלט אָן יעדעס יאָר ביזן סוף פֿון דער מלחמה און אויך נאָך איר אינעם טאָג פֿון דער פּאַסכע פֿלעג צו אונדז קומען די אַלטע טאָלסטיקאָווע און ברענגען צו טראָגן געפֿאַרבטע אייער. און צומאָל אויך ניט אויף דער פּאַסכע, נאָר סתּם אַזוי איז געקומען און געבראַכט עסן. און אויב אינעם טאָג פֿונעם הייליקן פּראַוואָסלאַוון פּראַזדניק איז די אַלטע טאָלסטיקאָווע פּלוצעם פֿאַרשפּעטיקט אַ ביסל, האָט מישקע, אַ גרויסער שוין בחורעץ, צעקוועטשט זײַן נאָז אויפֿן פֿאַרגאָסענעם מיט דער פֿרילינגדיקער זון שויבגלאָז און טרויעריק געזאָגט:

— אָך, עפּעס צו לאַנג הייבט זיך ניט אָן די פּאַסכע...

זיי אַלע האָבן דערלעבט ביז פּענסיע: דער פֿעטער מישע, מײַן מאַמע און די מומע מײַע. ניט פֿרומע, ניט גלייביקע, און פּאָרט פֿרילינגצײַט פֿלעגן זיי פֿאַרבן אייער צו דער פּראָוואָסלאַווער פּאַסכע. און אַזוי — יעדעס יאָר.

צו די גערשטיינס געקומען די אַלטע טאָלסטיקאָווע. זי און אַ קליין אייניקל:

— כריסטאָס וואָסקרעס![1]

— וואָיִסטינו וואָסקרעס! — האָט זיי געענטפֿערט אסתּרקע, הגם אַליין איז זי געווען אַ ייִדישקע און קיין פּראַוואָסלאַווע פּאַסכע האָט זי ניט געפּראַזדנעוועט.

— נעם, אסתּר. — טאָלסטיקאָווע האָט אַוועקגעשטעלט אויפֿן טיש אַ פֿאַן מיט הייסע קאַרטאָפֿליעס, אַ קריגל מילך, אַ קלייניטשקע פּאַסכע[2] און פֿינף געפֿאַרבטע אייער.

— לאָז אָפּ! נו, וואָס האָסטו זיך אויסגעטראַכט. מיינסט, אַז מיר הונגערן? יעקבֿ, וואָס זיצטסטו ווי אַ גולם? זאָג זשע, אַז בײַ אונדז איז ניטאָ קיין הונגער.

און וואָס האָט געקענט זאָגן יעקבֿ, ווען מישקע, רבֿקה און מײַקע האָבן אַזוי געקוקט אויפֿן טיש!?

— נעמט... איר האָט דעמאָלט וואַניען... נעמט, באַליידיקט

[1] ״קריסטוס איז אויפֿגעשטאַנען תּחיית־המתים!״ (רוסיש)

[2] אַ מין זיסע קעז־מאַסע מיט ראָזשינקעס, וואָס פּראַוואָסלאַווע רוסן מאַכן אויפֿן יום־טובֿ פֿון פּאַסכע.

וואַרמעס אַהיים. איר אומבײַט האָט געהאַלטן בײַם ענדיקן זיך, און רבֿקה האָט צוגעזאָגט ברענגען געבעקס פֿון דער יום־טובֿדיקער פּיאָנערישער מאָלצײַט. דאָס איז געווען כמעט אַ פֿײַערלעכע מינוט, גלײַך ווי פֿאַרן אײַנהענטיקן באַלוינונגען. לכּבֿוד אַזאַ צופֿאַל האָט מײַקע אפֿילו זיך אַרומגעוואַשן, און מישקע האָט זיך ניט געאײַלט אָנהייבן בײַ דער ריטשקע אַן אָרדנטלעכן געשלעג.

— אָט זשע איז זי, רבֿקה! באַלד וועט זי צעטיילן אויף גלײַך...

— רבֿקהלע, — דאָס איז געווען דער מאַמעס קול, דאָס מידע, פֿאַרגעסענע פֿאַרמלחמהדיקע מאַמעס קול, וואָס פֿון אים איז פֿאַרשווונדן דער כּעס אויף דער מלחמה, אויף די באַשטעלער, אויף דער ביראַקאַנער ריטשקע, אין וועלכער זי פֿלעג אין אָפּרו־טעג אַראָפּוואַשן פֿאַרטריקנט בלוט פֿון פֿראָנט־וואַטוווקעס, און אויף איר אומאָנזעטלעכער כאַליאַסטרע. דער מאַמעס קול איז געווען ביטער, ווי דאָס גראָז טשערעמשאַ, וועלכע די קינדער פֿלעגן רײַסן פֿרילינגצײַט אויף ביראָקאַנער סאָפּקעס. — רבֿקהלע, דער פֿעטער וואַניע טאָלסטיקאָוו וועט מסתּמא אין גיכן שטאַרבן. מע דאַרף אָפּטראָגן דאָס געבעקס אים.

אין רבֿקהס האַנט האָט געציטערט אַ פּעקל, וואָס איז שוין

גרייט געווען צעפּליקט צו ווערן אָדער, אויב לויט מישקעס דעפֿיניציע, צעטיילט צו ווערן מיט יושר.

דער פֿעטער וואַניע וועט מסתּמא שטאַרבן און ער בעט עפּעס אַ געבעקס. אין דער פֿרי איז געקומען די אַלטע טאָלסטיקאָווע. גיי, טראָג אָפּ. די מלחמה וועט זיך פֿאַרענדיקן, און דו וועסט זיך נאָך אָנעסן צו זאַט, און ער קען ניט באַוויַיזן.

מיַיקע האָט לאַנג נאָכגעסקאַווטשעט, און מישקע האָט געשטופּט מיטן פֿוס די פֿאָרטקע ביז ער האָט געכאַפּט פֿון דער מוטער אסתּרקע־גראַמאָפֿאָן, צו וועלכער עס האָט זיך אומגעקערט איר פֿריִערדיקער כאַראַקטער...

כ׳נעם זיך ניט זאָגן באַשטימט, וואָס האָט אָנגעטאָן מער עגמת־נפֿש די קינדער, די קראַנקהייט פֿונעם שכן דעם פֿעטער וואַניע טאָלסטיקאָוו אָדער דאָס אַוועקגעטראָגענע אויף זייערע אויגן געבעקס. אגבֿ, קיין געבעקס האָבן זיי ניט געפּרוּווט ביזן סוף פֿון דער מלחמה.

דער פֿעטער וואַניע איז געשטאָרבן, איבערגעלאָזט זיַין מוטער, דער אַלטער טאָלסטיקאָווע, דריַי קליינע קינדער. אמת די מיידלעך זיַינען געווען ניט צעבאַלאָוועטע, זיי האָבן געהאָלפֿן דער באָבען זיך פּאָרען אין שטוב, און זי אַליין איז געווען נאָך אַ שטאַרקע פֿרוי. בקיצור, האָט מען געלעבט, ניטאָ וואָס צו זאָגן.

און פֿרילינגציַיט, ווען מיט פּראָדוקטן איז געוואָרן אין גאַנצן שלעכט, געענוי אויף דער פּראַוואָסלאַווער פּאַסכע איז

שוין אָפּגערעדט וועגן פּירעזשקעס און בולקעלעך. דעריבער מישקע, וועלכער האָט פּעסט פּאַרגעדענקט די אָרדענונג פֿונעם לאַגער־טאָג, פֿלעג כמעט יעדן טאָג זיך באַווײַזן בײַם פּלויט, ווו רבֿקה האָט דורך אַ שפּאַרונע דערלאַנגט אים יענץ, וואָס איז געווען באַקוועם אַרויסצוטראָגן נאָך וואַרמעס אָדער נאָך וועטשערע. ער פֿלעג גלײַך אויפֿעסן כמעט אַלץ. איבערגעלאָזט ברעקלעך פֿאַר מײַקען, און צוזאָגן קומען מאָרגן צוגאַסט ווידער. אַזוי איז געווען, און ס׳איז אוממעגלעך אַנטלאָפֿן פֿון אָט דער מאַמעס דערמאָנונג. דווקא אַזוי. איך גלייב מײַן מאַמען.

מישקע איז געווען הונגעריק כראָניש. אַ דאַרער, אַ ברוינלעכער, אַ האַסטיקער, אַן ענלעכער אויף אַ ציגײַנערל, איז ער תּמיד געווען אַ שלעגער און אַ פּריטשעפּע. ער האָט אַנערקענט נאָר געשלעגן ביזן ערשטן בלוט. האַרבסטצײַט פֿלעג מישקע צוזאַמען מיט מוזשיקן אויף לאַנג אַוועקגיין אין טײַגע אַרײַן שישקעווען. ער האָט געשמט ווי דער פֿלינקסטער צעדערנקריכער, און טאַקע דערפֿאַר פֿלעגן די מוזשיקן נעמען אים מיט זיך, ניט געקוקט אויף זײַן יונגער עלטער. מישקעס שטורעמדיקע ענערגיע האָט, ווײַזט אויס, געפֿאָדערט אַ סך קאַלאָריעס און לויט מישקעס ווערטער — פּשוט — פֿרעסן, און מיטן פֿרעסן האָט אַזוי געשמאַק געשמעקט הינטערן פּלויט פֿונעם פּיאָנערן־לאַגער.

אין יענעם טאָג האָט רבֿקה געדאַרפֿט זיך אומקערן נאָכן

אָרעמער איז דאָס לעבן, אַלץ מער קינדער ווערן אין דעם געבוירן? דערבײַ ווערן זיי געבוירן, זיך טשעפּענדיק איינס פֿאַר דעם צווייטנס פּיס. און ניט אַזוי, ווי יעקבֿ־אָבֿינו האָט זיך געטשעפּט פֿאַר די פּיס פֿון זײַן ברודער עשׂו, ניט געבנדיק אים דערזען גאָטס וועלט פֿריִער פֿון אים, נאָר פֿאַרקערט. זיי האָבן זיך געטשעפּעט נאָר כּדי וואָס גיכער אויפֿשטיין אויף אייגענע פּיס און זיך אײַנשפּאַנען אינעם שווערן לעבנס־וואָגן. אַזוי זײַנען געוואַקסן אַלע קינדער אין ביראַקאַן. און ווי אַ בײַשפּיל קאָן איך ווידער ברענגען מײַן מאַמע, איר ברודער און איר שוועסטער.

זומערצײַט רבֿקהן פֿלעגט מען שיקן אין אַ פּיאָנערן־לאַגער כּדי אויף איין אומגליק אין דער היים זאָל זײַן ווייניקער. אַזוי האָט באַשלאָסן די באָבע, און זאָל עמעצער אין דער היים באַשליסן אַנדערש, וואָלט זיך אים גלײַך אויסגעדאַכט, אַז ער האָט פֿריִער זיך ממש געבאָדן אין גליק. בקיצור, שטעל איך זיך פֿאָר, וויִאַזוי עס וואָלט געקאָנט זײַן. איך געדענק, דאַנקען גאָט, די באָבע.

רבֿקהן איז אינעם פּיאָנערן־לאַגער געווען בעסער איידער אין דער היים, און דער עיקר — זעטער. זי האָט זיך זייער געפֿריידט, און ניט ווייניקער פֿון איר האָבן זיך געפֿריידט מישקע און מײַקע. און פֿאַרוואָס, וועט איר באַלד פֿאַרשטיין. ניט געשריבענע געזעצן פֿון דער משפּחה־קרובֿהשאַפֿט האָבן ניט דערלויבט רבֿקהן אויפֿעסן אַליין איר ברויט־פּאָרציע,

גוטסקייט און אכזריותדיקייט האָבן געלעבט אין איר בשותּפֿות און ניט געשטערט איינע דער אַנדערער. זי פֿלעג אומברחמנותדיק שלאָגן אירע אייגענע קינדער, אָבער געהאָדעוועט מיט ברויט קינדער פֿון שכנים, ווען יענע האָבן זשעדנע אויף דעם געקוקט.

"קום אַהער, נאַ!" — פֿלעג זי שרײַען צו אַ קינד און דערלאַנגען אים אַ שטיק. און אין דער זעלבער צײַט פֿלעגן אירע קללות (און אין קללות איז מײַן באָבע געווען אַ בריה) דורנערן איבער ביראַקאַן, ווי אַ נײַס־סוואָדקע פֿון אינפֿאָרמביוראָ דורך אַ רעפּראָדוקטאָר. און אויב עמעצער וואָלט געוואַגט זאָגן איר אין דעם מאָמענט: "אסתּר, איר האָט אַ משפּחה, מישקע איז ווי אַ סקעלעט און אויף מײַקע מיט ריבֿקהן איז שרעקלעך אַ קוק צו טאָן", — וואָלט זי געענטפֿערט: "זיי ועלן ניט פּגרן. איך וועל העלפֿן, מיר וועט מען העלפֿן". דערנאָך פֿלעג זי זיך אָפּקערעווען און, וואַרשײַנלעך, וויינען. זי האָט געווײנט אויף איר אייגענעם אופֿן, ווײַל קיינער האָט אין יענער צײַט ניט געזען אסתּרקע־גראַמאָפֿאָנס טרערן. זי איז געווען זייער אַ גוטהאַרציקע, מײַן באָבע, באָבע אסתּרוסיע.

אַ סך אין אונדזער לעבן איז אוממעגלעך צו דערקלערן און די קינדער אויכעט. איך מיין ניט גאָר יענץ, ווי זיי קומען אין דער וועלט. איך רעד וועגן עפּעס אַנדערש. למאי וואָס

נאָך ערבֿ דער מלחמה איז רבֿ יעקבֿ קראַנק געוואָרן אויף טשאַכאָטקע, אָבער ער איז געווען אַ שטילער ייִד און האָט ניט געהאַט קיין געוווינהייט ריידן וועגן קרענק. ער איז קראַנק געווען, און דאָס איז אַלץ. צו אים פֿלעגן אָפּטמאָל קומען מענטשן כּדי פֿרעגן אים, אויף וואָס דאַרף מען וואַרטן, אויב בײַנאַכט האָט זיך געחלומט אַזאַ און אַזאַ חלום. ער האָט געענטפֿערט, און זײַנע ווערטער פֿלעגן בפּירוש מקוים ווערן. יעדנפֿאַלס אַזוי האָט געטענהט מײַן מאַמע, און דער מאַמען גלייב איך.

די באָבע איז געווען דער הויפּט פֿון דער משפּחה, און ווי איך האָב שוין געזאָגט, גאָר אַ ראַשיקער הויפּט. מיט דעם האָט זי פֿאַרדינט איר צונעמעניש "אסתּרקע־גראַמאָפֿאָן". איך טענה מיט זיכערקייט, אַז אינעם אָבלוטשיער ראַיאָן האָט קיינער ניט געגנייט בעסער פֿון איר און קיינער האָט זיך ניט געקריגט מיט באַשטעלער אַזוי ווי זי.

— וואָס איז געשען בײַ אסתּרקען? זי שרײַט אַזוי, גלײַך זי האָט פֿאַרלאָרן אַלע ברויט־קאַרטלעך אינאיינעם.

— לאָזט אָפּ, בײַ אסתּרקען גייט פּשוט אַ מעסטן.

— ס׳איז טאַקע זייער אויף איר ענלעך. אָבער נייען נייט אסתּרקע — זאָלן בײַ איר די הענט קיינמאָל ניט טאָן וויי!

מיר האָבן פֿאַרגעסן פֿון מצות, גלײַך ווי מיר האָבן פֿאַרגעסן וועגן דעם, אַז ס'איז דאָ דער ייִדישער פּסח און ווען קומט ער.

דערבײַ איז וויכטיק צו דערמאָנען וועגן דעם, אַז מײַן באָבע זכרונה־לבֿרכה האָט אויף אַ געוויסן עטאַפּ פֿון איר לעבן, היטנדיק ייִדישע רעליגיעזע מנהגים, גאָר ניט געשטערט מײַן מאַמען פֿאַרבן אייער, און נאָך מער – זי האָט אַליין זיי געפֿאַרבט.

און אָט איין מאָל, דעם נײַנטן אַפּריל אין דער פֿרי קומט מײַן מאַמע כּדי באַגריסן מײַן זון מיט זײַן געבורטסטאָג און צוזאַמען מיט מתּנות דעם אייניקל ברענגט זי אַ פּאַקעט מיט געפֿאַרבטע אייער. די קינדער פּישטשען פֿון התלהבֿות, צעכאַפּן די "קראַשענקעס" ווי אויסטערלישע שפּילעכלעך, און איך, דערלעבט ביז דרײַסיק יאָר, האָב זיך טאַקע דערטראַכט פֿרעגן, פֿונוואַנען איז בײַ דער מאַמען אָט די געוווינהייט, און איך האָב באַקומען אַן ענטפֿער, וואָס האָט געדינט ווי אַ תּירוץ פֿאַר אָט דער דערציילונג. מײַן באָבען עספּיר מאָיִסייעוונע גערשטיין האָבן אין ביראַקאַן געקענט אַלע. וועגן איר עקזיסטענץ, מיין איך, איז געווען אוממעגלעך ניט וויסן צוליב איר דונערדיק קול און איר מײַסטערשאַפֿט פֿון אַ שנײַדערין פֿון דער אַלטער שקאָלע. מע האָט געקענט אין ביראַקאַן אויך מײַן זיידן יאַקאָוו חיימאָוויטש, אָבער די באָבע האָט מען פֿאָרט געקענט מער.

געפֿאַרבטע אייער

כ׳וואָלט געווען אַ ניט־איבערגעשפּיצטער מענטש, ווען איך וואָלט פּלוצעם חושד געווען מײַן מאַמע ריווע יאַקאָווליעוונע, אַן אַלטע קאָמוניסטקע, אין רעליגיעזקייט. אָבער איך האַלט זיך ניט פֿאַר אַ ניט־איבערגעשפּיצטן מענטשן, הגם איך האָב מיט מײַנע אייגענע אויגן געזען, ווי די מאַמע פֿאַרבט אייער ערבֿ דער פּראַוואָסלאַווער פּאַסכע. וואָס פֿאַר אַ שייכות האָט די רוסישע פּאַסכע צו מײַן ייִדישער מאַמען, האָב איך ניט פֿאַרשטאַנען כאָטש הרגע מיך אַוועק. פֿאַרוואָס אייגנטלעך – געפֿאַרבטע אייער און ניט מצות? ווען ס׳האָט נאָך געלעבט מײַן באָבע, פֿלעג זי ברענגען מצות פֿון שיל, און מיר אַלע פֿלעגן זיי עסן מיט יויך, און די מאַמע אויך. די באָבע האָט אויפֿגעהערט גיין אין שיל, דערנאָך איז זי געשטאָרבן, און

סך לייענער דערפֿילן די אוניקאַלע לעבנס־פּראָזע פֿון דער ייִדישער אויטאָנאָמער געגנט, ווי עס האָבן מיר אַמאָל דערמעגלעכט עס טאָן העשל ראַבינקאָווס דערציילונגען.

און נאָך — די ביראָבידזשאַנער ליטעראַטור האָט זיך אָנגעהויבן אויף ייִדיש און האָט זיך פֿאָרגעזעצט אויף רוסיש. אינעם באַהעפֿטן אָט די צוויי לשונות אין איין בוך פֿונעם סאַמע ביראָבידזשאַנער לויט מײַן מיינונג הײַנטצײַטיקן שרײַבער זע איך עפּעס סימבאָליש. ווי מע זאָגט אין ישׂראל, „סגירת מעגל“ — „קרײַז־פֿאַרשליסונג“.

וועלוול טשערנין

מיר אין אַ געוויסן זין אַ המשך פֿון העשל ראַבינקאָווס דערציילונגען. זיי דערציילן וועגן דעם, וואָס איז געווען ווײַטער. דערציילן אומבאַצוימט, אָן דער פּראַקטיש אומפֿאַרמײַדלעכער פֿאַר אַ סאָוועטישן שרײַבער — ניט וויכטיק אַ ייִדישן צי ניט־ייִדישן — זעלבסט־צענזור.

אגבֿ, וועגן די ייִדישע שרײַבער. אלכּסנדר דראַבקין שרײַבט זײַנע דערציילונגען אויף רוסיש, אויף דער שפּראַך, וועלכע איז שוין פֿון לאַנג געוואָרן די הויפּט־שפּראַך פֿונעם טאָגטעגלעכן לעבן און פֿון דער קולטור אין דער ייִדישער אויטאָנאָמער געגנט. דערבײַ פֿון מײַן שטאַנדפּונקט איז ער אַ ייִדישער שרײַבער. און צי דען קאָן זײַן אַנדערש אַ שרײַבער, וועמענס גאַנצע לעבן און שאַפֿונג זײַנען פֿאַרבונדן מיט דער ייִדישער אויטאָנאָמער געגנט? אלכּסנדר דראַבקין איז גאָר ניט פֿרעמד דער ייִדישער שפּראַך. אָט די שפּראַך הערט זיך שטענדיק אין זײַנע אָנגעשריבענע אויף רוסיש ווערק. דערפֿאַר האָט דאָס איבערזעצן זײַנע דערציילונגען אין ייִדיש פֿאַרשאַפֿט מיר פֿרייד.

די דאָזיקע דערציילונגען זײַנען פֿאַרעפֿנטלעכט געוואָרן אויף ייִדיש אין פֿאַרשיידענע פּעריאָדישע אויסגאַבעס — אין "ביראָבידזשאַנער שטערן", אין אַלמאַנאַך "ביראָבידזשאַן", אין תּל־אָבֿיבֿער זשורנאַל "ייִדישלאַנד". איך האָף, אַז געזאַמלטע אונטער איין הילע וועלן זיי דערמעגלעכן אַ

אין דער צווייטער העלפֿט פֿון די 80ער יאָרן, בשעת ער איז געווען אַ רעדאַקציע־מיטאַרבעטער פֿון ″ביראָבידזשאַנער שטערן“, און גענומען אַן אַקטיוון אָנטייל אינעם שאַפֿן אומאָפּהענגיקע פּרעסע אין ביראָבידזשאַן. אין אונטערשייד פֿון אַ סך אַנדערע פֿאָרשטייער פֿון דער ביראָבידזשאַנער שעפֿערישער אינטעליגענץ איז ער ניט אַוועקגעפֿאָרן פֿון דער ייִדישער אויטאָנאָמער געגנט, הגם אויך ער האָט נאַטירלעך ניט איין מאָל באַזוכט אין ישׂראל. ביראָבידזשאַן איז ניט געוואָרן פֿאַר אים בלויז אַ שורה, אַ מין אויסטערלישער שטריך אין ביאָגראַפֿיע. ביראָבידזשאַן דאָס איז זײַן לעבן, זײַן גורל, זײַן ליבע. אויב אָן פּאַטעטיק, איז ביראָבידזשאַן פֿאַר אים אַלץ. איך גלייב אויף אַלע הונדערט פּראָצענט דעם טיטל פֿון דער אַרויסגעגעבענער אין 2018 זאַמלונג אלכּסנדר דראַבקינס פּראָזע — ″זינגלידער פֿון מײַנע גאַסן“. דאָס זײַנען זײַנע גאַסן, און זײַנע פּראָזע־ווערק זײַנען לידער.

אין דער יוגנט האָב איך מיט אַ גרויסן אינטערעס געלייענט העשל ראַבינקאָווס דערציילונגען — אויף ייִדיש און אין רוסישע איבערזעצונגען. זיי האָבן מיר אַמאָל דערמעגלעכט זיך צורירן צו דער עכטער טאָגטעגלעכקייט, צו דער לעבנס־פּראָזע פֿון דער ייִדישער אויטאָנאָמער געגנט. אלכּסנדר דראַבקינס דערציילונגען זײַנען פֿאַר

אָפּיציאָז, וועלכער פֿלעג צומאָל זיך דערמאָנען וועגן דער ייִדישער אויטאָנאָמער געגנט צוליב זײַנע לחלוטין פּראָפּאַגאַנדיסטישע צילן. אין בירָאָבידזשאַן איז געוואַקסן אַ דור פֿון מענטשן, פֿאַר וועלכע ער איז געווען אָן שום פּאַטאָס און אָן שום פּראָפּאַגאַנדע דאָס היימלאַנד, סתּם ווײַל זיי זײַנען געבוירן געוואָרן אין אים, אויסגעוואַקסן אין אים און האָבן אים ליב געהאַט. און זיי האָבן פֿאָרגעזעצט און זעצן פֿאָר שאַפֿן די בירָאָבידזשאַנער ליטעראַטור.

בירָאָבידזשאַן און זײַנע שריפֿטשטעלער געפֿינען זיך ניט אוודאי אין אַן איזאָלאַציע פֿון דער אויסערלעכער וועלט. זיי זײַנען אַ טייל פֿון רוסלאַנד, אַ טייל פֿונעם רוסלענדישן ווײַטן מיזרח און, אַנטשפּרעכיק, אַ טייל פֿון זייער ליטעראַטור. דערבײַ, ווי אַ פּועל־יוצא פֿון אוניקאַלקייט פֿון דער געשיכטע און פֿון עטנאָ־קולטורעלן בעקגראַונד פֿון בירָאָבידזשאַן, זײַנען זיי גאַנץ ענג פֿאַרבונדן מיט ישׂראל, וווּ עס ווױנען אַ סך טויזנטער געוועזענע בירָאָבידזשאַנער און וווּ עס האָבן פֿאָרגעזעצט זייער שאַפֿונג ניט ווייניק ליטעראַטן, וועלכע האָבן אָנגעהויבן זייער שעפֿערישן וועג אין בירָאָבידזשאַן.

אַזאַ איז אין אַלגעמיינע שטריכן דער הינטערפּאָן, אויף וועלכן עס זײַנען געשאַפֿן געוואָרן דערציילונגען פֿון אלכּסנדר דראַבקין, וועלכער האָט אָנגעהויבן שרײַבן פּראָזע

נײַעם דור, װעלכע זײַנען אױסגעװאַקסן אין ביראָבידזשאַן און האָבן שױן ניט געטרױמט װעגן דער "טײַגע, װאָס אױף ייִדיש רעדט, פֿון טײַכן, װאָס אױף ייִדיש שומען". צװישן זײ זײַנען געװען ייִדן (למשל, לעאָניד שקאָלניק), האַלבע ייִדן (למשל, אַנאַטאָלי קאָבענקאָװ) און ניט־ייִדן (למשל, װיקטאָר סאַלאָמאַטאָװ), נאָר זײ אַלע זײַנען געװען ביראָבידזשאַנער.

די גרױסע ייִדישע װעלט האָט אָנגעהױבן פֿאַרגעסן װעגן ביראָבידזשאַן. בלױז די צײַטונג "ביראָבידזשאַנער שטערן", בײַ װעלכער עס זײַנען געבליבן אַלץ װײניקער לייענער, האָט דערטראָגן ביז איר אױף ייִדיש די בשׂורה װעגן דעם, אַז די ייִדישע אױטאָנאָמע געגנט עקזיסטירט נאָך. װאָס איז שײך צו דער גרױסער רוסישער ליטעראַטור, האָט זי בכלל ניט באַמערקט ביראָבידזשאַן. זי האָט זיך פּראַקטיש אפֿילו ניט דערמאָנט װעגן דעם, אַז דער באַרימטער אינעם גאַנצן סאָװעטנפֿאַרבאַנד עמנואל קאַזאַקעװיטש איז אַמאָל געװען אַ ביראָבידזשאַנער.

און ביראָבידזשאַן האָט געלעבט מיט זײַן טאָגטעגלעך פּראָזאַיִש לעבן, װאָס איז װײַט געװען סײַ פֿון דעם אױפֿריכטיקן פּאַטאָס פֿונעם דערװערבן היימלאַנד, װעלכער איז געװען כאַראַקטעריסטיש פֿאַר זײַנע ערשטע בױער אין די 30ער יאָרן, סײַ פֿונעם ליגנערישן סאָװעטישן

ערשטע אַרויסגעגעבענע אין ביראָבידזשאַן בוך, די ערשטע זאַמלונג פֿון עמנואל קאַזאַקעוויטשעס לידער האָט געהייסן "ביראָבידזשאַנבוי". אין סאַמע סוף 30ער יאָרן האָט ער געשאַפֿן אויך אַ מין ביראָבידזשאַנער עפּאָס, דעם אַרויסגעגעבענען אין 1941 שוין אין מאָסקווע ראָמאַן אין פֿערזן (און ווי זשע האָט געקאָנט זײַן אַנדערש?!) "שלום און חווה". אין מויל אַרײַן איינעם פֿון די העלדן פֿון דעם דאָזיקן ראָמאַן האָט דער ביראָבידזשאַנער ייִדישער פּאָעט, וועלכער איז געוואָרן אַ קלאַסיקער פֿון דער סאָוועטישער רוסישער פּראָזע, אַרײַנגעלייגט די טרויעריקע ווערטער: "איז סוף צו יענע שיינע טרוימען // פֿון טײַגע, וואָס אויף ייִדיש רעדט,// פֿון טײַכן, וואָס אויף ייִדיש שוימען".

ווײַטער האָט זיך אָנגעהויבן אַ הוילע פּראָזע. אײַנגעשלאָסן יענע, וואָס איז אָנגעשריבן געווען מיט גראַמען...

אין די 60ער יאָרן האָט אָנגעהויבן זיך פֿאָרמירן אַ רוסיש־שפּראַכיקע ביראָבידזשאַנער ליטעראַטור. איינער פֿון אירע גרונטלייגער איז געווען דער פּראָזאַיִקער ראָמאַן שויכעט, וועלכער האָט פֿרײַ געקענט ייִדיש און דערפֿאַר איז געוואָרן אַ מין פֿאַרבינדונגס־רינג צווישן די ביראָבידזשאַנער שרײַבער פֿונעם עלטערן דור, וועלכע האָבן פֿאָרגעזעצט שאַפֿן אויף ייִדיש, און די שרײַבער פֿונעם

אַלכּסנדר דראַבקין אין קאָנטעקסט
פֿון ביראָבידזשאַנער פּראָזע

די געשיכטע פֿון דער ביראָבידזשאַנער ליטעראַטור האָט זיך אָנגעהויבן פּראַקטיש איינציַיטיק מיט דער געשיכטע פֿון ביראָבידזשאַן אַליין, פֿון דער פֿאַרעפֿנטלעכטער אין 1929 זאַמלונג ריַיזע־נאָטיצן פֿון מאיר אַלבערטאָן, וועלכער איז געקומען אויף דער סטאַנציע טיכאָנקע מיטן ערשטן עשעלאָן פֿון יִידישע איבערוואַנדערער. במשך פֿון איר ערשטן יאָרצענדליק איז די גאַנצע ביראָבידזשאַנער ליטעראַטור געווען פּאָעזיע. ממש די גאַנצע, איַינגעשלאָסן פּראָזע. בויען אַ ניַי יִידיש לאַנד, דערוועקן הײמלאַנד פֿאַרן יִידישן פֿאָלק איז דער הויכער לייטמאָטיוו פֿון דער ביראָבידזשאַנער — פּראַקטיש פֿולקום יִידיש־שפּראַכיקער ליטעראַטור אין די 30ער יאָרן. ניט צופֿעליק האָט דאָס

אינהאַלט

וועלוול טשערנין.
"אַלכּסנדר דראַבקין אין
קאָנטעקסט פֿון ביראָבידזשאַנער פּראָזע" 4

דערציילונגען

געפּאַרבטע אייער 11
אַמאָל זייער לאַנג צוריק 22
וווּהין די נאַכט, אַהין דער חלום 30
אַן עמיגראַנטישע נאָוועלע 38
אַ קאַטאָוועס־טרײַבער 50
אַלץ אויפֿן ייִדישן אופֿן 58
דער זיידע מאיר... 66
די ייִדישע בריגאַדע 75
ווי מע האָט געבראַכט צו קבֿורה אַ שרײַבער 84
אָט דאָס לעבן... אַ רוח אין זײַן טאַטן אַרײַן 91

אַלכּסנדר דראַבקין

אָך, ייִדן, ייִדן

ביראָבידזשאַנער דערציילונגען

ייִדיש — וועלוול טשערנין

דיזײַן — טאַטיאַנאַ איסטאָמאָנאַ

קינסטלער — וולאַדיסלאַוו צאַפּ

אלכּסנדר דראַבקין

אָך, ייִדן, ייִדן

ביראָבידזשאַנער דערציילונגען

ביראָבידזשאַן
2022